

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев
(Сочинения А. Ф. Писемского, т. I и II. Сочинения И. С. Тургенева).

I

Писемский, Тургенев и Гончаров принадлежат к одному поколению. Это поколение уже давно созрело и теперь клонится к старости; дети этого поколения уже способны решать по-своему вопросы жизни, и потому отцы постепенно становятся деятелями прошедшего времени, и для них настает суд ближайшего потомства. Пора проверить результаты их работ, не для того, чтобы выразить им свою признательность или неудовольствие, а просто для того, чтобы пересчитать умственный капитал, достоящийся нам от прошедшего, узнать сильные и слабые стороны нашего наследства и сообразить, что в нем можно оставить на старом основании и что надо фундаментально переделать. Всего этого наследства разом не оглядишь; оно, как и все русское, велико и обильно. Посмотрим на первый раз, что оставили нам наши первоклассные романисты, лучшие представители русской поэзии сороковых и пятидесятих годов. Вопрос, поставленный мною, шире, чем может подумать читатель. Романы Писемского, Гончарова и Тургенева имеют для нас не только эстетический, но и общественный интерес; у англичан рядом с Диккенсом, Теккереем, Бульвером и Эллиотом есть Джон Стюарт Милль; у французов рядом с романистами есть публицисты и социалисты; а у нас в изящной словесности да в критике на художественные произведения сосредоточилась вся сумма идей наших об обществе, о человеческой личности, о междучеловеческих, семейных и общественных отношениях; у нас нет отдельно существующей нравственной философии, {1} нет социальной науки; стало быть, всего этого надо искать в художественных произведениях. Я говорю: _надо искать_, потому что не может же быть, чтобы люди, имеющие знакомых, жену, детей, состоящие на государственной или частной службе, и притом сколько-нибудь способные размышлять, не составляли себе известных понятий о своих отношениях, о жизни и ее требованиях; не может быть, чтобы, составив себе эти понятия, они не делились ими с теми, кто может их понимать. Вместо того чтобы сообщать результаты своих наблюдений в отвлеченной форме, они стали облекать идею в образы. Многие из наших беллетристов сделались художниками потому, что не могли сделаться общественными деятелями или политическими писателями; что же касается до истинных художников по призванию, то они также должны были какую-нибудь стороною своей деятельности сделаться публицистами.

Кто, живя и действуя в сороковых и пятидесятих годах, не проводил в общественное сознание живых, общечеловеческих идей, того мы уважать не можем, того потомство не поместит в число благородных деятелей русского слова. Г. Фет, Полонский, Щербина, Греков и многие другие микроскопические поэтики забудутся так же скоро, как те журнальные книжки, в которых они печатаются. "Что вы для нас сделали? - спросит этих господ молодое поколение. - Чем вы обогатили наше сознание? Чем вы нас шевельнули, чем заронили в нас искру негодования против грязных и диких сторон нашей жизни? Сказали ли вы теплое слово за идею? Разбили ли вы хоть одно господствующее заблуждение? Стояли ли вы сами, хоть в каком-нибудь отношении, выше воззрений нашего времени?" На все эти вопросы, возникающие сами собою при оценке деятельности художника, наши версификаторы ничего не сумеют ответить. Мало того. Они не поймут этих вопросов и остановятся в недоумении; они в наивности души уверены в величии своих заслуг и в правах своих на всеобщую признательность; они думают, что, шлифуя русский стих, баюкая нас своими тихими мелодиями, воспевая на тысячу ладов мелкие оттенки мелких чувств, они приносят пользу русской словесности и русскому просвещению. Они считают себя художниками, имея на это звание такие же права, как модистка, выдумавшая новую куафюру.

Чтобы эти слова не казались бессмысленною выходкою, лаянием на луну, я считаю не лишним сказать несколько слов о том, что я понимаю под словом "художник". Вот видите ли, все мы смотрим на какой-нибудь уличный скандал, но не во всех нас это зрелище западет одинаково глубоко, не всех нас оно потрясет одинаково сильно. Чего, чего ни передумал бы человек впечатлительный, присутствуя, положим, при подвиге расправы над извозчиком; {2} одна эта сцена показалась бы ему только эпизодом длинной, никому не ведомой драмы, разыгрывающейся каждый день без свидетелей в разных бедных квартирах, на улицах, "под овином, под стогом", {3} - везде, где бедный и слабый терпит горькую долю от богатого и сильного. Воображение дорисовало бы недостающие подробности; естественное, гуманное чувство, воспитанное

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org разносторонним образованием, согрело бы всю картину, и вот из грубой уличной сцены возникло бы художественное произведение, которое, наверное, подействовало бы на читателя, шевельнуло бы его или заставило бы его задуматься. Кто по природе и по воспитанию впечатлителен да кто усвоил себе умение передавать свои впечатления другим так, чтобы они могли перечувствовать то, что он сам чувствует, тот и художник. Умение передавать составляет техническую сторону искусства и приобретает навыком и упражнением. Способность воспринимать, или впечатлительность, составляет принадлежность человеческого характера художника; эта способность кроется в строении нервов, рождается вместе с нами и, конечно, развивается или притупляется обстоятельствами жизни. Умение передавать, или виртуозность формы, сама по себе не может сильно и обаятельно подействовать на читателя; не угодно ли вам, например, описать самым ярким и подробным образом лицо вашего героя так, чтобы читатель видел каждую морщинку на его лбу, каждый волосок на его бровях, каждую бородавку на лбу или щеке? На каждой академической выставке есть несколько подобных картин: тут, положим, художник нарисовал палитру, карандаш и куски красок; в другом месте корзину с цветами или разрезанный арбуз; в третьем – портрет какого-нибудь господина, у которого бровный воротник и пуговицы на шинели выделаны так тщательно, что не знаешь, портрет ли это или вывеска меховщика. Ах, как натурально, – скажете вы, но представить себе, чтобы художник, рисуя все эти прелести, что-нибудь думал или чувствовал, вы решительно не будете в состоянии. Вы увидите, что такой-то господин хорошо составляет краски и ловко владеет кистью, но человеческого характера этого господина вы не увидите; ни мысли его, ни чувства вы не уловите; отходя от картины, вы будете вправе сказать, что такой-то NN тратит свое замечательное умение на совершеннейшие пустяки; почему это происходит – на это могут быть многие причины: или г. NN не настолько умен, чтобы составить в голове своей план картины, или не настолько развит, чтобы уметь обставить свою идею, или не настолько впечатлителен, чтобы нечаянно наткнуться на сюжет и, почти помимо собственной воли, выносить и взлелеять его в груди. Во всяком случае, этот NN – художник только наполовину, настолько же, насколько может быть назван художником повар, отлично изготовивший кулебяку. Г. NN совершенно волен рисовать палитры, арбузы и меховые воротники всех цветов и достоинств, но мы, зрители, также совершенно вольны восхищаться или не восхищаться его малеваниями.

Перенесем теперь то, что было, сказано о живописи, на поэзию. К сожалению, область поэзии в некоторых отношениях далеко не так обширна, как область живописи. Вы можете, например, нарисовать картину, не выразив ровно никакой идеи и никакого чувства; эта завидная привилегия совершенно отнимается у вас, когда вы берете орудием своим – слово; тогда надо непременно что-нибудь сказать; читая самое наглядное описание какого-нибудь плетня или огорода, читатель никак им не удовлетворится, а все будет спрашивать: что же дальше? Если же вы ему ничего дальше не дадите, то он подумает, что вы над ним подшутили, и, чего доброго, найдет вашу шутку довольно плоскою. На этом основании каждый поэт, как бы он ни дорожил своею художественною свободою и как бы ни был ему враждебен элемент мысли, старается, чисто для приличия, прикинуться в своих произведениях мыслящим и чувствующим. Никто, конечно, не упрекнет гг. Фета, Мея и Полонского в том, чтобы они были глубокие мыслители, а между тем и в их лирических стихотворениях есть подобия мыслей и чувств; случается, правда, что вы прочтете маленькое стихотворение в три-четыре куплета и тотчас же забудете его, как забываете докуренную сигару; но зато это стихотворение подействовало на вашу нервную систему почти так же, как сигара; первые два стиха подкупили вас своею благозвучностью, первые четыре рифмы убавляли вас своим мерным падением, и вы дочитываете до конца, находясь в состоянии приятной полудремоты и потеряв всякую способность, да и всякое желание отнестись критически к прочитанному произведению. Такого рода чтение действительно хорошо в гигиеническом отношении после обеда, и кроме того, такого рода стихотворения очень полезны в типографском отношении, для пополнения белых полос, т. е. страниц между серьезными статьями и художественными произведениями, помещающимися в журналах. Но знаете ли, что часто случается? Джентльмен, наполнивший гладкими пустячками штук полтора таких белых полос, производится в русские поэты, становится авторитетом, издает собрание своих стихотворений и начинает помышлять о признательности потомства, о монументе аеge regennius. {Прочнее меди (выражение из оды Горация). – Ред.} Я совершенно согласен признать за ними права на монумент, но позволю себе только дать читателю таких поэтов один совет: попробуйте, милостивый государь, переложить два-три хорошенькие стихотворения Фета, Полонского, Щербина или Бенедиктова в прозу и прочтите их таким образом.

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
Тогда всплывут наверх, подобно деревянному маслу, два драгоценные свойства этих стихотворений: во-первых, неподражаемая мелкость основной идеи и, во-вторых, колоссальная напыщенность формы; вам покажется, будто вы по ошибке раскрыли том сочинений Марлинского, вы припомните семейство Манилова или даже надписи на конфетных билетиках, вы закроете книгу и, вероятно, согласитесь с моим мнением. Мне кажется, что в стихах, как и в прозе, прежде всего нужна мысль; отсутствие мысли может быть замаскировано фантастическими арабесками и затушевано гладкостью и музыкальностью стихов; но то, что лишено мысли, никогда не произведет сильного впечатления.

У наших лириков, за исключением гг. Майкова и Некрасова, нет никакого внутреннего содержания; они не настолько развиты, чтобы стоять в уровень с идеями века; они не настолько умны, чтобы собственными силами здравого смысла выхватить эти идеи из воздуха эпохи; они не настолько впечатлительны, чтобы, смотря на окружающие их явления обыденной жизни, отражать в своих произведениях физиономию этой жизни с ее бедностью и печалью. Им доступны только маленькие тревобления их собственного узенького психического мира; как дрогнуло сердце при взгляде на такую-то женщину, как сделалось грустно при такой-то разлуке, что шевельнулось в груди при воспоминании о такой-то минуте, - все это описано, может быть, и верно, все это выходит иногда очень мило, только уж больно мелко; кому до этого дело и кому охота вооружаться терпением и микроскопом, чтобы через несколько десятков стихотворений следить за тем, каким манером любит свою возлюбленную г. Фет, или г. Мей, или г. Полонский? Поучитесь-ка лучше, гг. лирики, почтайте да подумайте! Ведь нельзя, называя себя русским поэтом, не знать того, что наша эпоха занята интересами, идеями, вопросами гораздо пошире, поглубже, и поважнее ваших любовных походов и нежных чувствований. Впрочем, опять-таки говорю, вы вольны делать, как угодно, но и я, как читатель и критик, волен обсуживать вашу деятельность, как мне угодно. И деятельность ваша, вероятно, не на одни мои глаза покажется больно пустою и бесцветною.

Не трудно, конечно, понять, почему я из числа наших лириков выгородил Майкова и Некрасова. Некрасова, как поэта, я уважаю за его горячее сочувствие к страданиям простого человека, за честное слово, которое он всегда готов замолвить за бедняка и угнетенного. Кто способен написать стихотворения: "Филантроп", "Эпилог к ненаписанной поэме", "Еду ли ночью по улице темной", "Саша", "живя согласно с строгою моралью", {4} - тот может быть уверен в том, что его знает и любит живая Россия. Майкова я уважаю, как умного и современно развитого человека, как проповедника гармонического наслаждения жизнью, как поэта, имеющего определенное, трезвое мирозерцание, как творца "Трех смертей", "Савонаролы", "Приговора" и т. д. {5} Всякий согласится, что эти два лирика, Майков и Некрасов, по уму, по таланту, по развитию и по отношению своему к современной жизни стоят неизмеримо выше тех версификаторов, о которых я говорил на предыдущей странице. Но все-таки, если мы желаем изучить тот запас общечеловеческих идей, который находится в обращении в мыслящей части нашего общества, если мы хотим проследить, как эта мыслящая часть относилась к жизни массы, то мы преимущественно должны обратить наше внимание на тех трех романистов, которых имена выписаны в заглавии статьи. Их личности, их манера писать, условия их развития, склад их таланта, взгляд на жизнь - все это представляет самое пестрое разнообразие; между тем все трое пользуются постоянно любовью нашей публики, следовательно, или каждый из них какою-нибудь стороною своего таланта удовлетворяет требованиям этой публики, или, извините за откровенность, эта публика не предъявляет никаких определенных требований и кушает без разбору все, что ей ни поднесут. Оба эти предположения имеют некоторую долю основательности. Действительно, публика наша не взыскательна и мало развита как в эстетическом, так и во всяком другом отношении; с другой стороны, каждый из трех названных романистов имеет свою характерную особенность; в Гончарове, например, развита та сторона, которая слаба в Тургеневе и Писемском; в Писемском есть такие достоинства, которых вы не найдете ни в Тургеневе, ни в Гончарове; Тургенев заденет в вас такие струны, которых не шевельнет ни Гончаров, ни Писемский; стало быть, публика наша, читая их вместе и находя всех троих по своему вкусу, поступает очень основательно; она для своего умственного произволевания распоряжается точно так же благообразно, как опытная хозяйка, заказывающая хороший обед и инстинктивно устроивающая так, чтобы одно кушанье дополнялось другим, чтобы питательные вещества, не находящиеся в мясе, приносились в соусе и приправе и чтобы таким образом организм вынес из-за стола возможно большее количество обновляющего материала.

Чтобы открыть характерные особенности каждого из наших трех романистов, надо поговорить довольно подробно о каждом из них в отдельности. Я начну с Гончарова; он написал меньше Писемского и Тургенева; его романы менее замечательны для характеристики русской жизни, и потому с ним легче справиться; покончивши с ним, я остановлю все внимание читателей на параллели между Писемским и Тургеневым.

II

Гончаров написал только два капитальные романа: "Обыкновенную историю" и "Обломова". Первый из этих романов сразу поставил его в ряды первоклассных русских литераторов, и его "Очерки кругосветного плавания" {б} и "Обломов" были встречены журналами и публикою с такою радостью, с какою редко встречаются на Руси литературные произведения. Мне кажется, причины этого замечательного явления заключаются преимущественно в том, что Гончаров по плечу всякому читателю, т. е. для всякого ясен и понятен. Он везде стоит на почве чистой современной практичности, и притом практичности не западной, не европейской, а той практичности, которую отличаются образованные петербургские чиновники, читающие помещики, рассуждающие о современных предметах барыни и т. п. Прочтите Гончарова от начала до конца, и вы, по всей вероятности, ничем не увлечетесь, ни над чем не замечаетесь, ни о чем горячо не заспорите с автором, не назовете его ни обскурантом, ни рьяным прогрессистом и, закрывая последнюю страницу, скажете очень хладнокровно, что г. Гончаров – очень умный и основательно рассуждающий господин. У Гончарова нет никакого конька, никакой любимой идеи; утопия всякого рода ему совершенно враждебна; ко всякому увлечению он относится с легким и вежливым оттенком иронии; он – скептик, не доводящий своего скептицизма до крайности; он – практик и материалист, способный ужиться с фантазером и идеалистом; он – эгоист, не решающийся взять на себя крайних выводов своего мирозерцания и выражающий свой эгоизм в тепловатом отношении к общим идеям или даже, где возможно, в игнорировании человеческих и гражданских интересов. Этот эгоизм проглядывает во всех его произведениях; кто читал "Фрегат Палладу" и "Обломова", тот не найдет удивительным мое мнение. Постоянно спокойный, ничем не увлекающийся, романист наш развязно подходит к запутанным вопросам общественной и частной жизни своих героев и героинь; бесстрастно и беспристрастно осматривает он положение, отдавая себе и читателю самый ясный и подробный отчет в мелких его особенностях, становясь поочередно на точку зрения каждого из действующих лиц, не сочувствуя особенно сильно никому и понимая по-своему всех. Он обсуживает положение и свойства своих действующих лиц, но всегда воздерживается от окончательного приговора. Прочитавши "Обыкновенную историю", читатель не может сказать, чтобы автор сочувствовал старшему Адуеву, и не может также сказать, чтобы он находил его неправым; сочувствия к младшему Адуеву также не видно ни в ту минуту, когда он составляет совершенную противоположность с своим дядей, ни в тот момент, когда он становится на него похожим. Вследствие этого, оканчивая последнюю страницу романа, читатель чувствует себя неудовлетворенным. "Обыкновенная история" производит такое впечатление, какое могла бы произвести отлично нарисованная, но неясно освещенная картина; мы чувствуем, что автор романа человек умный, наблюдательный и способный осмысливать свои наблюдения; этот человек говорит с нами о явлениях нашей жизни, описывает их подробно и наглядно, изображает влияние этих явлений на молодое существо, знакомящееся с жизнью, но изображает чисто внешним образом, перечисляя только симптомы перемен, происходящих в его герое.

Очень естественно, что читатель, заинтересованный настолько же личностью рассказчика, насколько нитью самого рассказа, ждет на каждой странице, чтобы автор в постановке образов или в лирическом отступлении выразил бы свои воззрения, сказал бы: я считаю это хорошим, а то дурным, по таким-то причинам. Мне могут возразить на это, что объективность – высшее достоинство эпического поэта; я отвечу, что это одна из тех наследованных от прошедшего фраз, которыми пробавляются, за неимением лучшего, эстетика и критика, – одна из тех фраз, в которых многие сведущие, но робкие люди видят предел, "егоже не преидеши". Во-первых, эпическая поэзия в чистом виде своем теперь невозможна; попробуйте рассказывать события без основной мысли, не группируя их так, чтобы читатель мог видеть просвечивающую идею, – вы собьетесь на Дюма-отца, Февалея и компанию, и ни один развитой человек не раскроет вашей книги и не скажет вам спасибо за ваше эпическое спокойствие. Рассказывать что-нибудь без определенной цели даже своим знакомым – свойственно только праздному болтуну или дряхлеющему старцу, а

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org рассказывать для процесса рассказывания всей читающей публике – просто недобросовестно и невежливо; надо помнить, что публика за рассказы платит деньги и на чтение их тратит время. Зачем же так бесцеремонно обращаться с достоянием ближнего? Я этим не хочу сказать, чтобы необходимо было читать публике нравоучения и наставления. Боже упаси! Это еще скучнее! Но дело в том, что, собираясь рассказывать что-нибудь, писатель должен же сам иметь в голове понятие о том, что он будет сообщать другим. Если ему приходится описывать явление, зависящее от другого явления, то должен же он объяснить одно другим, вывести одно из другого, показать, что такая-то причина должна привести и приводит к такому-то следствию. Следовательно, рассказчик должен раскрыть перед читателем свой процесс мысли. Кроме того, читателю невольно придет в голову вопрос: да с какой стати г. NN рассказывает мне эти события? что, кроме желанья получить авторский гонорар, побудило его написать несколько страниц, вывести на сцену десятка полтора лиц и следить за ними в продолжение нескольких лет их жизни? – Ответа на эти естественные вопросы надо искать в самом произведении; если произведение вылилось из души, то писатель, конечно, в этом произведении говорит о том, что, так или иначе, интересует его лично, что затрагивает его за живое, что он горячо любит или горячо ненавидит. Если предмет его рассказа для него равнодушен, то как объяснить себе то, что он обратил на него внимание, стал над ним задумываться, стал уяснять его самому себе и, наконец, довел его до такой степени наглядности, что он и для других людей стал заметен, понятен и осязателен? А если ничего этого не было, если писатель не вдумывался, не уяснял себе и т. д., то рассказ выйдет бледный и скучный; его действующие лица будут тени или марионетки, но никак не живые люди; таковы действительно бывают рассказы, писанные на заказ, без внутреннего желанья, без живого участия к предмету.

Для того чтобы печатные строки казались нам речами и поступками живых людей, необходимо, чтобы в этих печатных строках сказалась живая душа того, кто их писал; только в этом соприкосновении между мыслью автора и мыслью читателя и заключается обаятельное действие поэзии; живопись говорит глазу, музыка – уху, а поэзия (творчество) – чисто одному мозгу; вы видите глазом черные значки на белом поле и при помощи этих значков узнаете то, что думал человек, которого вы, может быть, никогда в глаза не видали; на вас действует чисто сила мысли, а мысль и чувство всегда бывают личными, следовательно, что же останется от поэтического произведения, если вы из него вытравите личность автора? Вполне объективная картина – фотография; вполне объективный рассказ – показание свидетеля, записанное стенографом; вполне объективная музыка – шарманка; добиться этой объективности значит уничтожить в поэзии всякий патетический элемент и вместе с тем убить поэзию, убить искусство, даже науку, даже всякое движение мысли.

Личность автора для меня интересна, как всякая человеческая личность и, кроме того, как личность, чувствующая потребность высказаться, следовательно, воспринявшая в себя ряд известных впечатлений и переработавшая их силою собственной мысли. Личности же вымышленных действующих лиц я только терплю и допускаю как выражение личности автора, как форму, в которую ему заблагорассудилось вложить свою идею. Если я с идеею согласен, если я ей сочувствую, а выведенные личности оказываются бледными и неестественными, то я скажу, что автор – неопытный музыкант, что чувство в нем есть, а технического умения мало; заметивши этот недостаток, я все-таки буду, может быть, некоторые отрывки читать с удовольствием, вероятно те отрывки, в которых сила внутреннего убеждения и воодушевления укрепляет неопытные руки виртуоза и заставляет его на несколько мгновений победить трудности техники. "Ничего, со временем будет прок, явится навык", – можно будет сказать, закрывая книгу, написанную таким образом, т. е. с неподдельною теплотою, но без достаточного знания жизни; читатель с добрым чувством расстанется с таким писателем и с радостью встретится с ним в другой раз. Но если в рассказе, великолепно обставленном живыми подробностями, не видно идеи и чувства, не видно личности творца, то общее впечатление будет совершенно неудовлетворительно. Вам покажется, что перед вами играет на фортепиано какой-нибудь заезжий искусник, выделяющий удивительные штуки пальцами, исполняющий с быстротою молнии невообразимые трели и рулады, возбуждающий ваше искреннее изумление беглостью рук, но ничем не дающий вам почувствовать, что он – человек. Тут уж нет никакой надежды; тут года не принесут пользы; приобрести фактические знания можно, усвоить технику какого угодно искусства тоже небольшая трудность, но откуда же взять свежести чувства, самостоятельной энергии мысли, той электрической, непонятной силы, которая берется в нас бог весть откуда и уходит с годами бог весть куда?

Словом, только личное воодушевление автора греет и раскаляет его произведение; где этого личного воодушевления не заметно, там, как бы ни были верно подмечены и искусно сгруппированы подробности, – там, повторяю, нет истинной силы, нет истинно обаятельного влияния поэзии, нет сочувствия между поэтом и читателем.

III

Между публикою и любимым писателем почти всегда устанавливаются известные отношения, основанные на сочувствии и доверии. Любя произведения какого-нибудь NN, невольно составляешь себе понятие о его личности, допускаешь в ней те или другие свойства и решительно отвергаешь разные темные пятна. Иногда случается разочароваться, и часто подобное разочарование бывает так же тяжело, как разочарование в близком и дорогом человеке. Гончаров – писатель, любимый публикою; в этом не может быть никакого сомнения, а между тем, странное дело, между ним и публикою положительно нет подобных отношений; его человеческой личности никто не знает по его произведениям; даже в дружеских письмах, составивших собою "Фрегат Палладу", не сказались его убеждения и стремления; выразилось только то настроение, под влиянием которого написаны письма; настроение это переходит от спокойно ленивого к спокойно веселому, и больше нам не представляется никаких данных для обсуждения личного характера нашего художника. Во всяком случае, если два больших романа, которых сюжеты взяты из современной жизни, не выражают ясно даже отношений автора к идеям и явлениям этой жизни, – это значит, что в этих романах есть умышленная или нечаянная недоговоренность и что эти романы продуманы и состроены, а не прочувствованы и созданы. Беглый взгляд на остов "Обыкновенной истории" и "Обломова" подтвердит эту мысль. "Обыкновенная история" говорит нам: вот что делается из молодого человека под влиянием нашей петербургской жизни. Ну, что же такое? спрашивает читатель. Что, она его формирует или портит? Что, она сама хороша или дурна? – На второй вопрос Гончаров отвечает так: петербургская жизнь вот такая, и описывает наружность этой жизни, тщательно избегая каких бы то ни было отношений к этой наружности. Положим, у вас спрашивают, хороша ли такая-то женщина? Вы отвечаете: – нос у нее такой-то длины и такой-то ширины, рот такой-то величины, зубов столько-то, такого-то цвета глаза, столько-то линий в длину и столько-то в разрезе, цвет их такой-то и т. д. Согласитесь, что из подобного беспристрастного описания не вынесешь сколько-нибудь целостного понятия о характере физиономии, каким бы увлекательным языком ни были записаны эти статистические данные. Точно так же описание петербургского житья-бытья у Гончарова выходит неярким потому, что автор решительно не хочет выразить своего мнения, своего взгляда на вещи.

На вопрос о том, формирует или портит эта жизнь молодого Александра Адуева, Гончаров ничего не отвечает. Он нам рассказывает в конце романа, что Александр приобрел лысину, почтенную полноту и житейскую опытность, охладившую его мечтательность; тем дело и кончается. Читатель вправе сказать: г. Гончаров, я сам очень хорошо знаю, что у человека лет в пятьдесят вылезают волосы, что сидячая жизнь увеличивает в нас количество жира и что с годами мы становимся опытнее. Вы описали все это чрезвычайно подробно, верно и наглядно, но вы не сказали нам ничего нового и скрыли от нас внутренний смысл ваших сцен и картин. Действительно, крупные, типические черты нашей жизни почти умышленно сглажены писателем и, следовательно, ускользают от читателя; зато отделка подробностей тонка, красива, как брюссельские кружева, и, по правде сказать, почти так же бесполезна. Александр приходит в соприкосновение с миром чиновников – об этом сказано вскользь, и потом сообщен результат, что он привык к канцелярской работе и стал получать порядочное жалованье. Александр вступает в сношения с журналами, – об этом тоже упоминается мимоходом, и только для того, чтобы отметить приращение его годового дохода. Две такие важные стороны нашей жизни, как бюрократия и периодическая литература, не удостоиваются внимательного рассмотрения, а между тем приводятся от слова до слова длиннейшие разговоры между Петром Ивановичем и Александром, между Александром и Наденькою, Александром и Тафаевою и т. п. Это – ошибка, как перед изображением самой жизни, так даже и перед личностью самого героя. Положим, старшие родственники и любимые женщины имеют значительное влияние на формирование характера и убеждений; но ведь все-таки формирует-то самая жизнь, столкновение с ее дрязгами, с ее серыми, трудовыми сторонами; нам любопытно видеть, как живут герои Гончарова, а он нам показывает, как они резонерствуют о жизни или мечтают о ней, сидя рядом с героинями где-нибудь

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org под кустом сирени, в тенистой беседке. Это очень хорошо и трогательно, но это не жизнь, а разве – крошечный уголок жизни. Конечно, таланту Гончарова должно отдать полную дань удивления: он умеет удерживать нас на этом крошечном уголке в продолжение целых сотен страниц, не давая нам ни на минуту почувствовать скуку или утомление; он чарует нас простотою своего языка и свежеею полнотою своих картин; но если вы, по прочтении романа, захотите отдать себе отчет в том, что вы вместе, с автором пережили, передумали и перечувствовали, то у вас в итоге получится очень немного. Гончаров открывает вам целый мир, но мир микроскопический; как вы приняли от глаза микроскоп, так этот мир исчез, и капля воды, на которую вы смотрели, представляется вам снова простою каплею. Если бы эта сила анализа, невольно подумаете вы, была направлена не на мелочи, а на жизнь во всей ее широте, во всем ее пестром разнообразии, – какие бы чудеса она могла произвести! – Эта мысль ошибочна; кто останавливается на анализе мелочей, тот, стало быть, и неспособен идти дальше и подниматься выше. Гончаров останется на анализе мелочей потому, что у него нет побудительной причины перейти к чему-либо другому; он холоден, его не волнуют и не возмущают крупные нелепости жизни; микроскопический анализ удовлетворяет его потребности мыслить и творить; на этом поприще он пожинает обильные лавры, – стало быть, о чем же еще хлопотать, к чему еще стремиться? Словом, Г. Гончаров как художник – то же самое, что Г. Срезневский как ученый; {7} первый творит для процесса творчества, не заботясь о степени важности тех предметов, которые он воспекает, не спрашивая себя о том, высекает ли он своим резцом великолепную статую или вытачивает красивую безделушку для письменного стола богатого барина; второй точно так же исследует для процесса исследования, не спрашивая себя о том, стоит ли игра свечей и выйдет ли из его трудов какой-нибудь осязательный результат. Обе эти личности, представители одного типа, выработались под влиянием известных условий, сжились с ними и, почислив вопросы жизни решенными вполне удовлетворительно, обратили деятельность свою на шлифование подробностей, не имеющих даже относительной важности. "Как, – спросит с негодованием мой читатель, – и "Обломов" шлифование подробностей?" Да, отвечу я с подобающею скромностью. "Обломов", как нравоописательный роман, не что иное, как шлифование подробностей. Тип Обломова не создан Гончаровым; это повторение Бельтова, Рудина и Бешметева; {8} но Бельтов, Рудин и Бешметев приведены в связь с коренными свойствами и особенностями нашей зачинающейся цивилизации, а Обломов поставлен в зависимость от своего неправильно сложившегося темперамента. Бельтов и Рудин сломлены и помяты жизнью, а Обломов просто ленив, потому что ленив. Влияние общества на личность героя здесь, как и в "Обыкновенной истории", скрыто от глаз читателя; автор понимает, что оно должно существовать, но он держит его где-то за кулисами, и из-за этих кулис его герой выходит совершенно готовым и начинает рассуждать и ходить по сцене. Если читатель возразит мне, что "Сон Обломова" объясняет нам процесс его развития, то я на это отвечу, что "Сон" говорит только о младенческих годах нашего героя. никакой характер не оказывается сложившимся в десятиили двенадцатилетнем мальчике; тем более не мог сложиться в такие годы характер Обломова, которого и в тридцать пять лет можно было ворочать куда угодно; стало быть, зачем же автор, заговоривши о воспитании и развитии своего героя, не дал нам сцен из его гимназической, студенческой, чиновнической жизни? Ведь это, воля ваша, было бы не только плодотворнее, но даже интереснее многих сцен между Обломовым и Захаром. Ведь любопытно знать, что именно формирует у нас Обломовых, гораздо любопытнее, чем смотреть на то, как уже сформированные Обломовы, т. е. люди, на которых надо махнуть рукою, валяются на диване и плюют в потолок. Но, как везде, интересный, живой вопрос обойден, а подробностей – гибель.

Изображая личность Обломова, Гончаров мог еще ограничиться тесною сферою, не выходя за пределы кабинета и спальни и занимать своего читателя пересказыванием того, что говорили между собою Илья Ильич и Захар. Но вот наш художник хочет противопоставить своему ленивому герою лицо деятельное, весело и дельно смотрящее на жизнь и энергически расправляющееся с ее дразгами и невзгодами. Является Андрей Иванович Штольц, о котором даже сам автор возвещает не без торжественности, говоря, что это человек будущего, что много Штольцев кроется под русскими именами, что люди такого закала будут делать дело как следует. О, думаете вы, вот тут-то Гончаров выскажет то, что у него на душе, тут-то он воспользуется всеми собранными материалами, чтобы дать плоть и кровь этому человеку будущего, тут-то он приведет своего любимого героя в столкновение с разными сторонами и типическими особенностями нашей жизни. Вы продолжаете читать с возрастающим нетерпением и убеждаетесь в том, что Штольц ведет себя точно так же, как

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org все гончаровские герои, т. е. много говорит, хорошо округляет периоды, самодовольно развертывает перед слушателем свои убеждения и ничего не делает: о его деятельности, которая составляет суть его характера и замечательнейшее ее достоинство, автор рассказывает нам в самых общих выражениях. Штольц представлен вне жизни; а Штольц без жизни все равно, что рыба без воды. Он выведен из своего естественного положения, и потому сам бледен и неестествен до крайности. Так как он на наших глазах не действует, то ему, чтобы зарекомендовать себя читателю, поневоле приходится говорить самому о себе: "Я, дескать, человек деятельный, верьте мне на слово"; автору точно так же приходится обращаться к вере читателя и говорить ему: "Штольц у меня человек деятельный; деятельности вы его не увидите, но он, право, постоянно занят". Читатель, расположенный к скептицизму, подумает при этом так: "если романист приписывает одному из своих героев какое-нибудь качество, а между тем это качество не выражается в его действиях, то я, читатель, имею право заключить, что у автора не хватило сил вложить в образы то, что он выразил в отвлеченной фразе. Деятельный Штольц принадлежит к разряду лиц, подобных добродетельному становому г. Львова и знаменитому чиновнику его сиятельства графа Соллогуба". {9} Читатель-скептик не ошибется в своем предположении.

Впрочем, то обстоятельство, что Гончаров взялся за сооружение своего Штольца, и то обстоятельство, что это сооружение вышло до крайности неудачным, так характерны, что об них стоит поговорить подробнее. Действующие лица романа Гончарова постоянно вращаются в безразличной атмосфере, живут в тех комнатах, в которые не проникает русский дух, и становятся друг к другу в такие отношения, которые зависят от особенностей их личного характера, а не от условий места и времени. Декорации у Гончарова русские; для обстановки он выводит русского лакея, русскую кухарку, но это аксессуары, которые могут быть устранены, не нарушая завязки романа; главные действующие лица созданы головою автора, а не навеяны впечатлениями живой действительности. Задавшись своей идеею, набросав ее в общих чертах, г. Гончаров потом уже с натуры подрисовывает подробности, и все вместе выходит очень удовлетворительно и на первый взгляд кажется романом, взятым из русской жизни и воспроизводящим русские типы. Но это только на первый взгляд. Отделайтесь только от обаяния великолепного языка, отбросьте аксессуары, не относящиеся к делу, обратите все ваше внимание на те фигуры, в которых сосредоточивается смысл романа, и вы увидите, что в них нет ничего русского и, кроме того, ничего типичного. Если мы поступим таким образом с "Обыкновенной историей", то увидим, что смысл романа лежит в двух фигурах, в дяде и в племяннике, и что из этих двух фигур – одна неверна и неестественна, а другая совершенно пассивна и бесцветна.

Петр Иванович Адуев, дядя, – не верен с головы до ног. Это какой-то английский джентльмен, пробивший себе дорогу в люди силою своего ума, составивший себе карьеру и состояние и при этом нисколько не загрязнившийся. В нашем отечестве дорога к почестям и деньгам усеяна всякого рода терниями. Кто хочет преуспеть на том поприще, по которому путешествовал Петр Иванович, тот не много сохранит в себе гонора и фанаберии; под старость непременно дойдет до положения фамусова, а ведь между фамусовым и Петром Ивановичем огромная разница. Петра Ивановича, видимо, уважает г. Гончаров, а к фамусову он, по всей вероятности, отнесся бы с добродетельным презрением. Это видимое различие между фамусовым и Петром Ивановичем не может быть объяснено различием времени. Скажите по совести, неужели мы так много ушли вперед с тех пор, как была написана комедия Грибоедова? Неужели вы до сих пор не встречаете между вашими знакомыми фамусова, Молчалива и Скалозуба? формы стали действительно поприличнее, но что же это за утешение! Неужели же г. Гончаров, выводя своего героя, обманул нас внешнею благопристойностью формы и не умел заглянуть поглубже и распознать под гладкими фразами Петра Ивановича родовых свойств фамусовского типа? Вряд ли такой острый аналитик мог впасть в грубую ошибку, в которой может уличить его всякий школьник. Мне кажется, дело в том, что в самом фамусове автор "Обыкновенной истории" осудил бы не суть, а внешнее неблагообразие. Потихоньку вести свои дела, заводить связи и поддерживать их из чистого расчета, заниматься таким делом, к которому не лежит сердце и которого не оправдывает ум, оставлять под спудом в практике те идеи, которые исповедуешь в теории, смотреть с скептической улыбкою на порывы молодежи, стремящейся обратить слово в дело, – все эти вещи можно назвать благоразумием, лишь бы они не представлялись в полной наготе, без прикрас и смягчений. Своему герою г. Гончаров приписывает именно это благоразумие, утаивая и сглаживая те серенькие стороны, которые

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org неизбежно связаны с этим благоразумием. Но утаить и сгладить эту обратную сторону медали можно было только с тем условием, чтобы показывать читателям одну сторону дела. Если бы г. Гончаров вздумал выдержать очерченный им характер, приведя его в столкновение со всеми фазами русской жизни, тогда ему пришлось бы все эти фазы выдумать самому, и тогда вопиющая неестественность бросилась бы в глаза каждому читателю. На этом основании надо было пройти молчанием все отношения Петра Ивановича к тому миру, который лежит за пределами его кабинета и спальни. На этом основании нельзя было сказать ни слова о том, как Петр Иванович вышел в люди; даже те средства и пути, которыми его племянник приобрел себе независимое положение, покрыты мраком неизвестности. Петр Иванович как чиновник, как подчиненный, как начальник, как светский человек – не существует для читателя "Обыкновенной истории", и не существует именно потому, что автору предстояло решить грозную дилемму: или выдумать от себя всю русскую жизнь и превратить Петербург в Аркадию, или бросить грязную тень на своего героя, как на человека, подкупленного этой жизнью и отстаивающего ее нелепости ради своих личных выгод. Чтобы не насиловать явлений жизни, чтобы не становиться к ним в ложные отношения и чтобы не закидать грязью своего героя, г. Гончаров благогорассудил в "Обыкновенной истории" совершенно отвернуться от явлений жизни. Отнестись к ним с тем суровым отрицанием, с которым относились к ним все честные деятели русской мысли, открыто заявить свое non-conformity {несогласие (англ.)}. – Ред.} г. Гончаров не решился. Почему? – Отвечать на этот вопрос не мое дело; пусть ответит на него сам романист. Во всяком случае в "Обыкновенной истории" он исполнил удивительный *tour de force*, {ловкая штука; затруднительное предприятие (франц.)}. – Ред.} и исполнил его с беспримерною ловкостью; он написал большой роман, не говоря ни одного слова о крупных явлениях нашей жизни; он вывел две невозможные фигуры и уверил всех в том, что это действительно существующие люди; он стал в первый ряд русских литераторов, не откликаясь ни одним звуком на вопросы, поставленные исторической жизнью народа, пропуская мимо ушей то, что носится в воздухе и составляет живую связь между живыми деятелями. Исполнить такого рода *tour de force*, и притом исполнить его на глазах Белинского, удалось г. Гончарову только благодаря удивительному совершенству техники, невыразимой обаятельности языка, беспримерной тщательности в отделке мелочей и подробностей. Герои г. Гончарова ведут между собою такие живые разговоры, что, прислушиваясь к ним, невольно забываешь неверность их типа и невозможность их существования. А между тем эта неверность и невозможность, не заявленные положительно в нашей критике, заявляются в ней отрицательно. Рудина, Лаврецкого, Калиновича, Бешметева наши критики берут как представителей типов, как живых людей, служащих образчиками русской природы, а героев г. Гончарова никто не берет таким образом, потому что, повторяю, в них нет ничего русского и нет никакой природы.

Оба Адуевы, дядя и племянник, не обратились и никогда не обратятся в полунарицательные имена, подобные Онегину, Фамусову, Молчалину, Ноздреву, Манилову и т. п. Что сказать о личности Александра Федоровича Адуева, племянника? Или скажешь, что у него нет личности, а между тем даже и безличность или бесхарактерность не может быть поставлена в число его свойств. Он молод, приезжает в Петербург с большими надеждами и с сильною дозою мечтательности; петербургская жизнь понемногу разбивает его надежды и заставляет его быть скромнее и смотреть под ноги, вместо того чтобы носиться в пространствах эфира. Он влюбляется – ему изменяет любимая девушка; он напускает на себя хандру – и понемногу от нее вылечивается; потом он влюбляется в другую, и на этот раз уже сам изменяет своей Дульцинее; с годами он становится рассудительнее; при этом он постоянно спорит с своим дядею и мало-помалу начинает сходиться с ним во взгляде на жизнь; роман кончается тем, что оба Адуевы сходятся между собою совершенно в понятиях и наклонностях. – "Это канва романа, – скажете вы, – это – общие черты, контуры, которые можно раскрасить как угодно". Это правда; и эти контуры так и остались нераскрашенными; бледность и недоделанность их опять-таки замаскированы тщательностью внешней отделки. Например, Александр едет к той девушке, которую он любит; он чувствует сильное нетерпение, и г. Гончаров чрезвычайно подробно рассказывает, в каких именно внешних признаках проявлялось это нетерпение, как сидел его герой, как он переменил положение, какое впечатление производили на него окрестные виды; потом эта девушка ему изменила, предпочла другого – и г. Гончаров опять-таки с дагерротипическою верностью воспроизводит внешние выражения отчаяния, а потом апатии своего героя. Он пишет вообще историю болезни, а не характеристику больного; поэтому если бы роман г. Гончарова попался в руки какому-нибудь разумному жителю луны, то этот господин мог бы составить себе

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org довольно верное понятие о том, как говорят, любят, живут, наслаждаются и страдают на земле животные, называемые людьми. Но мы, к сожалению, все это знаем по горькому опыту, и потому те общие черты, которые наш романист разрабатывает с замечательным искусством, представляют для нас мало существенного интереса. Мы знаем, что, отправляясь на свидание с любимой женщиной, молодой человек чувствует усиленное биение сердца; как подробно ни описывайте этот симптом, вы охарактеризуете только известное физиологическое отправление, а не очертите личной физиономии. Описывать подобные моменты все равно, что описывать, как человек жует, или храпит во сне, или сморкается. Дело другое, если герой, отправляясь на свидание, перебирает в голове такие идеи, которые составляют его типовое или личное свойство; тогда его мысли стоит отметить и воспроизвести. Но г. Гончаров думает иначе; он с зеркальною верностью отражает все или, вернее, все то, что находит удоотражаемым, все бесцветное, т. е. именно все то, чего не следовало и не стоило отражать.

Условия удоотражаемости изменяются с годами; что было неудобно лет десять тому назад, то сделалось удобным и общепринятым теперь. Вследствие этих изменений в воздухе времени изменилось и направление г. Гончарова. Его "Обыкновенная история", за исключением последних страниц, которые как-то не вяжутся с целым и как будто приклеены чужою рукою, говорит довольно прямо, хоть и очень осторожно: "Эх, молодые люди, протестанты жизни, бросьте вы ваши стремления в даль, к усовершенствованиям, к лучшему порядку вещей! все это пустяки, фантазерство! - Наденьте вицмундиры, вооружитесь хорошо очиненными перьями, покорностью и терпением, молчите, когда вас не спрашивают, говорите, когда прикажут и что прикажут, скрипите перьями, не спрашивая, о чем и для чего вы пишете, - и тогда, поверьте мне, все будут вами довольны, и вы сами будете довольны всем и всеми". Эти мысли и воззрения в свое время были как нельзя более кстати, их надо было только выразить с некоторою осторожностью, чтобы не прослыть за последователя почтеннейшего Булгарина; а, как мы видели, дипломатической осторожности в "Обыкновенной истории" действительно гораздо больше, чем мысли, и несравненно больше, чем чувства. Но времена переменились, и пришлось настраивать лиру на новый лад; все заговорили о прогрессе, о разуме, и г. Гончаров также заблагорассудил дать нашему обществу урок, наставить его на путь истины и указать ему на светлое будущее. "Россияне! - говорит он в своем "Обломове", - все вы спите, все вы равнодушны к судьбе родины, все вы до такой степени одурели от сна и заплыли жиром, что мне, романисту, приходится в укор вам брать своего положительного героя из немцев, подобно тому как предки ваши, новгородские славяне, из немцев призвали себе великого князя, собирателя русской земли". - И россияне, с свойственною им одним добродушною наивностью, умиляются над гениальным произведением своего романиста, всматриваются в утрированную донельзя фигуру Обломова и восклицают с добродетельным раскаянием: "Да, да! вот наша язва, вот наше общее страдание, вот корень наших зол - обломовщина, обломовщина!.. Все мы Обломовы! все мы ничего не делаем! А дело ждет", и т. д.

Добрые люди! напрасно вы так на себя ропщете; да что же вы будете делать? Какая это вам пригрезилась работа? Это, должно быть, одно из следствий вашего продолжительного сна; перевернитесь на другой бок и усните опять. Вы можете быть или Обломовыми, или Молчаливыми, Фамусовыми и Петрами Ивановичами; первые - байбаки, тряпки; вторые - положительные деятели; но всякий порядочный человек скорее согласится быть Обломовым, чем Фамусовым. Г. Гончаров, как автор "Обломова", {как автор "Обыкновенной истории", г. Гончаров думает совсем не то; там он думает, что все хорошо и все хороши; стоит только приглядеться да втянуться.} думает иначе; он думает, что дело ждет, а работники спят, так что приходится нанимать их за границу; спят они не потому, что их измучила работа, не потому, что их истомила жажда и пропекли жгучие лучи солнца, а потому, что - негодящий народ, лентяи, увальни, жиром заплыли! Вот уж это дешевая клевета, пустая фраза, разведенная на целый огромный роман. Г. Гончаров, как Паншин в романе Тургенева "Дворянское гнездо", думает, что стоит только захотеть, так сейчас и посыпятся в рот жареные рябчики, и l'idee du cadastre {Идея кадастра (франц.). - Ред.} будет популяризирована; вот поэтому его "Обломов" и относится к тогдашнему пробуждению деятельности как замечание начальника, высказанное подчиненному: "Что же вы, дескать, любезный мой, спите? ведь так нельзя! Вы видите, я сам не жалею сил". Г. Гончаров, очевидно, думал эту мыслью попасть в ноту, и действительно многим показалось, что он попал, а на поверку выходит, что пенье было фальшивое, да и подтягивал-то он не тенором, а фистулою. Дело в том, что Обломов похож на Бельтова, Рудина и Бешметева, только гораздо резче обрисован; вот

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org многом, если не всем, и покажись в то время, что г. Гончаров говорит то же самое, что Тургенев и Писемский; а г. Гончаров говорил другое, только с свойственной ему осторожностью. Бельтов, Рудин и Бешметев доходят до своей дрянности вследствие обстоятельств, а Обломов – вследствие своей натуры. Бельтов, Рудин и Бешметев – люди, измятые и исковерканные жизнью, а Обломов – человек ненормального телосложения. В первом случае виноваты условия жизни, во втором – организация самого человека. По мнению Тургенева, Писемского и др., наше общество нуждается в реформах; по мнению г. Гончарова, мы все – больные, нуждающиеся в лекарствах и в советах врача. Согласитесь, что это не совсем то же самое. Вот из этого-то взгляда и вытекла попытка г. Гончарова соорудить нелепую фигуру Штольца. Положительных деятелей нет; это факт, который решается признать наш романист; но почему их нет? – спрашивает он. Дать на этот вопрос удовлетворительный ответ он боится, потому что такой ответ может повести ужасно далеко, по русской пословице! "язык до Киева доведет". Вот он и отвечает: "Деятелей нет, потому что мы страдаем обломовщиною". Это не ответ, это повторение вопроса в другой форме, а между тем фраза облетела всю Россию, "обломовщина" вошла в язык, и даже талантливый критик "Современника" посвятил целую критическую статью на разбор вопроса, что такое обломовщина?

Далее, г. Гончаров рассуждает так: если мы страдаем припадками болезни, то, чтобы изобразить положительного деятеля, стоит только представить здорового человека; в нас недостает энергии, стало быть, если приписать энергию какому-нибудь джентльмену, если заставить его ходить большими шагами, говорить репительно и громко, решать, не задумываясь, теоретические вопросы, – великая задача будет решена; ключ найден, рецепт положительного деятеля составлен: остается только послать в аптеку, чтобы там подписали: "Ordinavit nobis doctor vitae russicae I. Gontcharow". {Предписал нам врач русской жизни И. Гончаров (лат.). – Ред.} А ну, как в аптеке не найдется материалов? Что, если провизор усмехнется, прочитав рецепт, и ответит ученому доктору, что таких специй в целом свете нет и что такие химические соединения невозможны ни под какую широту? Что тогда? Ничего. Доктор умоет руки, скажет, что больной непременно выздоровел бы, если бы можно было найти птичье молоко, о котором толкует его рецепт. В действительности больной не поправится, но зато доктор будет прав: он не задумался, он решил вопрос; его ли вина, что вопрос может быть решен только в теории или, вернее, в фантазии? Да и всего вернее, что робкий провизор не ответит доктору так резко, как мы это предположили. Благоговей перед репутацией ученого мужа, он начнет смешивать и размешивать и, если у него не выдет требуемого соединения, отнесет свою неудачу на счет собственной неловкости, вместо того чтобы обличить эскулапа в невежестве и шарлатанстве.

Благоговение перед авторитетами, общими и частными, одинаково сильно в аптеках и в журналах. Если откинуть это благоговение, то надо будет сказать напрямик, что весь "Обломов" – клевета на русскую жизнь, а Штолец просто faux-fuyant, {Увертка (франц.). – Ред.} подставное решение вопроса, вместо истинного; попытка разрубить фразами тот узел, над которым, не жалея глаз и костей, трудятся в продолжение целых десятилетий истинно добросовестные деятели. Да! Автор "Обыкновенной истории" напрасно прикинулся прогрессистом. Обращаясь к нашему потомству, г. Гончаров будет иметь полное право сказать: не поминайте лихом, а добром нечем!

IV

Теплее и искреннее могут быть наши отношения к Тургеневу и к Писемскому. Оба они – честные деятели и прямые люди; оба смотрят на явления нашей жизни, понимая и чувствуя свое сродство с ними; оба говорят о них то, что думают в самом деле, говорят искренно и задушевно, не задавая себе задачи подделаться под господствующий тон. За эту правдивость, за эту честную стойкость им можно сказать большое спасибо; говорить, что думаешь, не насилуя себя, – совсем не так легко, как кажется; этого даже нельзя и требовать от всякого, но этим свойством надо дорожить в тех людях, в которых оно встречается. Имена двух романистов наших, Тургенева и Писемского, чисты; никто не обвинит их, как людей и как писателей, в потакании и нашим и вашим. Это отрицательное достоинство, – может заметить читатель; я с этим совершенно согласен, но именно это отрицательное достоинство в наше время так редко, что его стоит отметить там, где мы его замечаем. Читая романы Писемского и Тургенева, приятно сознавать, что каждая строчка их произведений – не фраза, брошенная для удовольствия тех или других читателей, а действительно выражение действительно

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org существующего в авторе чувства или воззрения. С этими чувствами и воззрениями можно не соглашаться, но их нельзя не уважать, потому что право на уважение имеет всякое искреннее убеждение.

Существенное различие между Тургеневым и Писемским бросается в глаза при самом беглом обзоре их произведений; это различие было не раз отмечено в нашей критике; еще недавно г. А. Григорьев назвал Писемского представителем реализма, и Тургенева – представителем и чуть ли не последним могикианом идеализма. {10} Такого рода разграничение обыкновенно ведет к спору о сравнительном достоинстве этих двух направлений и, следовательно, заводит в такую глубь эстетики, которою, как мне кажется, было бы бесполезно и невежливо утомлять читателя. Для меня Тургенев и Писемский важны настолько, насколько они разъясняют явления жизни; следовательно, для меня всего интереснее отношения их к изображаемым ими типам. Что же касается до того, как каждый из них рисует явления и картины, то этот вопрос имеет для меня совершенно второстепенный интерес. Пусть один рисует крупными штрихами, а другой с любовью отделяет подробности – все равно; они могут сходиться между собою в результатах. Разбирать манеру писателя и отделять ее от манеры другого писателя – почти то же самое, что писать стилистическое исследование; это, конечно, важно для характеристики писателя, но это не может служить ответом на наш вопрос: что сделали Тургенев и Писемский для нашего общественного сознания? – Чтобы сколько-нибудь разрешить этот важный и интересный вопрос, надо обратиться к остоу романов и повестей наших литераторов, взглянуть на них почти *a vol d'oiseau*, {с птичьего полета (франц.)}. – Ред.} отметить выдающиеся типы и, главное, отдать себе ясный отчет в отношении авторов к этим типам.

При теперешнем положении женщины в обществе и в семействе мужчина является необходимым и единственным проводником идей, носящихся в воздухе эпохи, – в те домашние кружки, которые заменяют нам общество. Под влиянием этих идей, понятых так или иначе, складываются обстоятельства жизни, формируются характеры, определяются направления мысли и деятельности. Мужчины приходят в непосредственные столкновения с жизнью; они серьезно учатся, служат, обделывают жизнь в ту или в другую форму, смотря по своим силам и по обстоятельствам времени и места. Женщины в настоящее время зависят от мужчин в отношении к своему материальному положению, в отношении к своему развитию, к взгляду на жизнь, к тому складу и направлению, которое принимает все их существование. При анализе романа не мешает взять отдельно эти два ряда типов и личностей; одни лица – деятельные, распоряжающиеся обстоятельствами, испытывающие на себе их непосредственное влияние; другие лица – пассивные, зависящие от первых, получающие от них свет преломленный и видоизмененный. Мужчины зависят от общих условий; женщины – от частных условий, от отдельных личностей, от отца, от старшего брата, от любовника или мужа. Общие условия почти для всех одни и те же; следовательно, эти условия в известной сфере общества вырабатывают довольно определенное количество типов; личного разнообразия искать и требовать мудрено; один мирится с общими условиями, другой заявляет свой протест, – вот вам две главные категории, под которые можно подвести личности мыслящие и действующие; одни идут направо, другие налево; кроме того, одни идут по избранному направлению скорее, другие медленнее: одни идут сознательно, другие из обезьянства; одни легко устают, другие оказываются неутомимыми; но все эти второстепенные оттенки происходят уже от того, что у одного человека больше мозга в голове, у другого больше крови в жилах, у третьего больше лимфы в сосудах, у четвертого больше желчи выделяется из печени. Физиологу, может быть, очень интересно разграничивать эти оттенки и сортировать сообразно с ними людские характеры, но для физиологии общества подобные исследования будут довольно бесплодны.

Изучая общество, талантливый и умный романист выводит слабого, сильного, бесцветного человека и т. д. не для того, чтобы сказать читателю: "Вот посмотрите, господа, какие бывают люди!", а для того, чтобы сказать ему: "Вот посмотрите, как действуют на различных людей те условия жизни, те идеи и стремления, среди которых живете вы сами. Посмотрите, какие типы формируются под влиянием этих условий". Только тогда, когда романист доходит до таких размышлений, он является истинным художником, потому что только тогда он вполне овладевает своим предметом и перерабатывает его силою зияющей мысли. Где нет этой переработки, там есть только списывание картинок с природы, списывание, предпринимаемое для препровождения времени, списывание, при котором ни сила мысли, ни сила чувства не подсказывают рисовальщику истинного общего смысла тех явлений, которые он кладет на полотно или на бумагу. Как бы ни был ярко нарисован поэтический образ, я

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org имею полное право спросить: на что он мне нужен? что у меня с ним общего? отвечает ли он хоть на один жизненный вопрос? – Если эти вопросы останутся без ответа, я смело отнесу яркий образ к разряду пестрых игрушек, до которых всегда найдется много охотников между взрослыми детьми обоего пола.

Романы Тургенева и Писемского никаким образом не могут быть отнесены к разряду этих игрушек; все они слишком глубоко прочувствованы или слишком полно отражают картины жизни, чтобы не показаться каждому читателю серьезным и дельным словом мыслящего человека. В деятельности Писемского до сих пор нельзя отметить ни одной фальшивой ноты; в деятельности Тургенева, до его несчастного романа "Накануне", не было также значительных ошибок; {я не говорю о его стихотворениях и драматических произведениях, которые известны очень немногим читателям.} ни тот, ни другой не пробовали представить положительных деятелей, т. е. таких героев, которым вполне могли бы сочувствовать автор и читатели; ни тот, ни другой не давали даже нелепых обещаний, вроде того, которое дал Гоголь в первой части "Мертвых душ" и которое он так уродливо выполнил во второй части своей поэмы. Оба – Тургенев и Писемский – стояли в чисто отрицательных отношениях к нашей действительности, оба скептически относились к лучшим проявлениям нашей мысли, к самым красивым представителям выработавшихся у нас типов. Эти отрицательные отношения, этот скептицизм – величайшая их заслуга перед обществом. Сбить с пьедестала пустого фразера, показать ему, что он несет вздор, упиваясь звуками собственного голоса, что он только фразером и может быть, – это чрезвычайно важно; это такой урок, после которого отрезвляется целое поколение; отрезвившись, оно всматривается в окружающие явления... Поколение Рудиных – гегельянцы, заботившиеся только о том, чтобы в их идеях господствовала систематичность, а в их фразах – замысловатая таинственность, мирили нас о нелепостях жизни, оправдывали их разными высшими взглядами и, всю свою жизнь толкуя о стремлениях, не трогались о места и не умели изменить к лучшему даже особенности своего домашнего быта. Развенчать этот тип было так же необходимо, как необходимо было Сервантесу похоронить своим Дон-Кихотом рыцарские романы, как одно из последних наследий средневековой жизни. Тип красивого фразера, совершенно чистосердечно увлекающегося потоком своего красноречия, тип человека, для которого слово заменяет дело и который, живя одним воображением, прозябает в действительной жизни, совершенно развенчан Тургеневым и представлен во всей своей дрянности Писемским.

Люди этого типа совершенно не виноваты в том, что они не действуют в жизни, не виноваты в том, что они – люди бесполезные; но они вредны тем, что увлекают своими фразами те неопытные создания, которые прельщаются их внешнею эффектною; увлекши их, они не удовлетворяют их требованиям; усилив их чувствительность, способность страдать, – они ничем не облегчают их страдания; словом, это – болотные огоньки, заводящие их в трущобы и погасающие тогда, когда несчастному путнику необходим свет, чтобы разглядеть свое затруднительное положение.

Тургенев исчерпал этот тип в Рудине, Писемский представил его в Эльчанинове ("Боярщина") и в Шамилове ("Богатый жених"). Все трое с самых юных лет все собираются лететь, все расправляют крылья, иногда машут ими до изнеможения, но ни на вершок не поднимаются от полу и для беспристрастного наблюдателя остаются смешными и пошлыми в самые пылкие минуты своего лиризма. В этих людях равновесие между головою и телом оказывается нарушенным с самого детства; уродливо воспитание не позволяет им развиваться как следует в физическом отношении; они не отличаются в детстве ни здоровьем, ни силою, но зато, благодаря наемным гувернерам, очень рано начинают украшать свою голову разнообразными сведениями; они опережают немного сверстников и сами замечают это; воспитатели своим влиянием поддерживают в них это "благородное соревнование". У ребенка являются искусственные интересы, ему хочется не конфет, не игрушек, не бегов, не забав, а того, чтобы его похвалили, по головке погладили, отличили перед другими; он заботится не о том, что доставляет непосредственное приятное ощущение, а о том, что считается хорошим в глазах старших. Вот он подрастает, становится к своим педагогам в критические отношения, но вместе с тем привычка смотреть на себя со стороны не пропадает; когда ему было десять лет, ему хотелось хорошо ответить урок, чтобы учитель назвал его молодцом; а в семнадцать лет ему хочется совершить удивительнейший подвиг, чтобы его имя повторяли с уважением соотечественники и соотечественницы. "Благородная гордость, благородные стремления", – говорят окружающие люди. Мне кажется, вернее было бы сказать, что началось маханье крыльями, которое

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org решительно ни к чему не поведет. Удивительнейший подвиг, конечно, не совершается, но мысль о таком подвиге раздражает нервы; молодой искатель великих дел говорит с увлечением и увлекательно; его слушатели – добрая, доверчивая молодежь уважает высоту его порывов и с умилением слушает его тирады; герой наш чувствует свою силу над кружком, воодушевляется своим торжеством, питается своим тщеславием, растет в своих собственных глазах и, одерживая постоянно в споре легкие победы, мечтая и говоря о широкой и великой деятельности, мало-помалу теряет всякую способность трудиться. Вот если бы тут, в кругу молодых слушателей и собеседников будущего великого человека, нашлся умный, едкий скептик, который, как дважды-два – четыре, доказал бы оратору, что он порет ахинею, – тогда, может быть, наш герой одумался бы и понял бы, что мечтать смешно, а не трудиться, когда есть силы, – глупо или по крайней мере нерасчетливо; но молодое пиво бродит, ничто не сдерживает его брожения, и оно бьет через край, и утекает в мутной пене; года идут; силы, не освежаемые трудом, тупеют; материальное положение остается сомнительным; способность импровизировать восторженную гиль превращается в привычку говорить высоким слогом о мудреных вещах, как то: „жизнь, Русь, назначение человека, долг гражданина“; удивительный подвиг, который предполагалось совершить в начале поприща, откладывается: фразер начинает понимать, что он ничего не сделал и ничего не сделает, но отказаться от эффектничания перед самим собою он решительно не в состоянии; он начинает говорить: "У меня были силы, их разнесла жизнь; жизнь меня измяла, но я не уступил ее напору; теперь я бессилён, теперь я жалок, ничтожен, смешон". Даже в патетическом перечислении своих нравственных нарывов и струпов наш герой ищет картинной эффектности, подобно тому как уездная барышня ищет интересной бледности, если не может похвастаться свежим цветом лица и округлостью бюста. Роль, позы, трагическая мантия оказываются самыми насущными потребностями неудавшегося титана. Искренности, жизни, натуры – ни на волос.

На словах эти люди способны на подвиги, на жертвы, на героизм; так по крайней мере подумает каждый обыкновенный смертный, слушая их разглагольствования о человеке, о гражданине и других тому подобных отвлеченных и высоких предметах. На деле эти дряблые существа, постоянно испаряющиеся в фразы, не способны ни на решительный шаг, ни на усидчивый труд. Вглядитесь в Рудина: как он говорит о жизни, как его слова западают в душу двум молодым личностям, Наталье и Басистову, как он сам воодушевляется и становится почти велик, когда его увлекает поток его мыслей! И вдруг, что же выходит на деле? Рудин трусит пред Волынцевым, трусит пред Натальей, спотыкается об ничтожнейшие препятствия, падает духом, выезжая из гостеприимного дома Дарьи Михайловны, и, наконец, является перед читателями измятым, забитым, бесполезным, как выжатый лимон; и тут он фразерствует, только несколькими тонами ниже. Но в Рудине есть выкупающие стороны; Рудин поэт, голова, сильно раскаляющаяся и быстро простывающая для того, чтобы снова раскалиться от прикосновения других предметов. Он впечатлителен до крайности, и в этой впечатлительности заключаются и его обаятельность и источник его страданий. Если бы дело так же скоро делалось, как сказка сказывается, то Рудин мог бы быть великим деятелем; в ту минуту, когда он говорит, его личность вырастает выше обыкновенных размеров; он гальванизирует самого себя, он силен и верит в свою силу, он готов пойти на открытый бой со всею неправдою земли; вот почему он умирает со знаменем в руке; но в обыденной жизни нельзя устраивать свои дела одним взмахом руки; ничто не приходит к нам по щучьему велению; надо выработать, надо срыть препятствия и разровнять себе дорогу; для этого необходима выдержка, устойчивость; взрывом кипучей отваги, вспышкой нечеловеческой энергии можно только ослепить зрителей; оно красиво, но бесплодно. Рудин умирает великолепно, но вся жизнь его не что иное, как длинный ряд самообольщений, разочарований, мыльных пузырей и миражей.

Всего печальнее то, что эти миражи обманывали не его одного; с ним вместе, за него и часто сильнее его самого, страдали люди, принимавшие его слова на веру, воспламенявшиеся вместе с ним и не умевшие остыть тогда, когда остывал Рудин. Особенно вредно Рудины действуют на женщин; женщины в нашем обществе нередко до седых волос остаются детьми; они не знают жизни, потому что сами не сталкиваются с нею; они не знают того, как лгут в жизни, поступками и словами, на каждом шагу и при каждом удобном случае, иногда даже лучшие люди и добросовестнейшие деятели; они видят этих людей и деятелей в домашнем костюме, когда вицмундиры сменяются простыми сюртуками; они слышат, как эти люди рассуждают о своей деятельности, и много фальшивой монеты принимают за наличную. Упомянув таким образом о женщинах, я, конечно, не говорю о тех несчастных личностях, которых горькая нужда

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org слишком хорошо познакомила с грязью жизни или которых уродливое воспитание сделало нечувствительными к каким бы то ни было впечатлениям, кроме чисто физической боли и чисто физического наслаждения.

Некоторая независимость от внешних обстоятельств совершенно необходима для того, чтобы человек мог мыслить и чувствовать; если человек целый день работает для того, чтобы не умереть с голода, и утоляет свой голод для того, чтобы завтра опять целый день работать, то он прозябает, а не живет; он черствеет, тупеет, покрывается какою-то ржавчиною; в этом и заключается деморализирующее, опошляющее влияние пауперизма, которого не испытывают животные и который страшным бременем тяготеет над человеком. Следовательно, говоря о психической жизни женщин, я поневоле принужден ограничиваться теми сферами, в которых эта психическая жизнь не подавлена и не забыта ежечасною, тревожною заботою о куске хлеба; такие женщины, знающие жизнь настолько, насколько пожелают показать им эту жизнь их папеньки, опекуны или супруги, любят смелые речи Рудиных; они в этих людях надеются увидеть тех героев, к которым инстинктивно стремятся их желания; они надеются через них познакомиться с тою более полною и широкою жизнью, они привязываются к этим людям тою пылкою любовью, которою мы любим наши лучшие надежды, наши светлые мечты, наши благородные стремления; все то, что дает нам силы переносить тягости жизни, все это воплощается для женщины в образе того человека, который горячим словом шевельнул ее мозговые нервы; тут обмануться, тут разочароваться значит упасть с страшной высоты; вынести такое падение, окрепнуть после такого грубого удара удастся очень немногим.

Вот в каком отношении Рудины принимают на себя страшную ответственность; кто будит в человеке его лучшие инстинкты, тот должен и удовлетворить их требованиям; кто ведет слабого ребенка на крутую гору, тот может сделаться преступником, если не поддержит до самого конца горы это существо, верующее в его силу и смело пошедшее за ним по его призыву; оставить такое существо на половине дороги, когда впереди страшная крутизна, а сзади страшный спуск в сырую тущобу, - это непростительно: тут извинением не может служить ни ошибка, ни слабость; когда берешься устроить чужую жизнь, надо взвесить свои силы; кто этого не умеет или не хочет сделать, тот опасен, как слабоумный или как эксплуататор.

v

Выкупающие стороны, отмеченные мною в характере Рудина, не встречаются в личностях Эльчанинова и Шамилова. Сущность типа состоит, как мы видели, в несоразмерности между силами и претензиями; дух бодр, плоть немощна - вот формула рудинского типа. Несоразмерность эта может происходить или от избытка претензий, или от недостатка сил. Рудин воплощает в себе первый момент; Эльчанинов и Шамилов служат представителями второго. Рудин - человек очень недюжинный по своим способностям, но он постоянно собирается сделать какой-то фокус, перескочить а *pieds joints* {обеими ногами, сразу (франц.). Ред.} через все препятствия и дрязги жизни; этот фокус ему не удается, потому что он вообще удается только немногим счастливым или гениям; вследствие этого Рудин истощается в бесплодных попытках, разливается в рассуждениях об этих попытках и дальше этого не идет; деятельность обыкновенного работника мысли ему сподручна, да вот, видите ли, он белоручка, он ее знать не хочет; ему подавайте такое дело, которое во всякую данную минуту поддерживало бы его в восторженном состоянии; он черновой работы не терпит, потому что считает себя выше ее. Эльчанинов и Шамилов, напротив того, представляют собою полнейшую посредственность; они даже в мечтах своих слишком высоко не забирают; им с трудом достаются даже такие рядовые результаты, как кандидатский экзамен; они - просто лентяи, не решающиеся сознаться самим себе в причине своих неудач.

В каждом обществе, дурно или хорошо устроенном, есть два рода недовольных; одни действительно страдают от господствующих предрассудков, другие страдают от побочных причин и только сваливают вину на эти предрассудки. Одни жалуются на то, что масса их современников отстает от них; другие - на то, что эти же современники идут мимо них, не обращая внимания на их возгласы и трагические жесты; к числу первых относятся Галилей, Иоанн Гус, аболиционист Броун; к многочисленной фаланге вторых принадлежат разные непризнанные дарования и непонятые души, люди, нищие духом и не решающиеся убедиться в своей нищете. Один, положим, оказался неспособным кончить курс и вследствие этого кричит, что система преподавания уродлива, а преподаватели - взяточники; другому возвратили нелепую статью из редакции

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org журнала – он начинает жаловаться на тлетворное направление периодической литературы; третьего выгнали из службы за то, что он пьет запоем, – он становится в мефистофелевские отношения к современному порядку вещей. Критические отношения к действительности неизбежны и необходимы, но критиковать надо честно и дельно; кто кидается в отрицание с горя, с досады, чтобы сорвать зло за личную неприятность, тот вредит делу общественного развития, тот роняет идею оппозиции и подрывает в публике доверие к тем честным деятелям, с которыми он, по-видимому, стоит под одним знаменем.

Когда вы горячо спорите о чем-нибудь, то нет ничего неприятнее, как услышать от другого собеседника плохой аргумент в пользу вашего мнения; нечестный или ограниченный союзник в умственном деле, в борьбе принципов вреднее врага; поэтому псевдопрогрессисты мешают делу прогресса гораздо сильнее, чем открытые обскуранты, если только последние в борьбе с новыми идеями останавливаются на одной аргументации. Мелкие представители рудинского типа схватывают на лету свежие идеи, выкраивают себе из них эффектную, по их мнению, драпировку и, закутываясь в нее, до такой степени опошляют самую идею, что становятся совестно за них и до слез обидно за идею. Возьмем, например, Шамилова. Он пробыл три года в университете, болтался, слушал по разным предметам лекции так же бессвязно и бесцельно, как ребенок слушает сказки старой няни, вышел из университета, уехал восвояси, в провинцию, и рассказал там, что "намерен держать экзамен на ученую степень и приехал в провинцию, чтобы удобнее заняться науками". Вместо того чтобы читать серьезно и последовательно, он пробавлялся журнальными статьями и тотчас по прочтении какой-нибудь статьи пускался в самостоятельное творчество; то вздумает писать статью о Гамлете, то составит план драмы из греческой жизни; напишет строк десять и бросит; зато говорит о своих работах всякому, кто только соглашается его слушать. Рассказы его заинтересовывают молодую девушку, которая по своему развитию стоит выше уездного общества; находя в этой девушке усердную слушательницу, Шамилов сближается с нею и, от нечего делать, воображает себя до безумия влюбленным; что же касается до девушки, – та, как чистая душа, влюбляется в него самым добросовестным образом и, действуя смело, из любви к нему преодолевает сопротивление своих родственников; происходит помолвка с тем условием, чтобы Шамилов до свадьбы получил степень кандидата и определился на службу. Является, стало быть, необходимость поработать, но наш новый Митрофанушка не осиливает ни одной книги и начинает говорить: "Не хочу учиться, хочу жениться". К сожалению, он говорит эту фразу не так просто, и откровенно, как произносил ее его прототип. Он начинает обвинять свою любящую невесту в холодности, называет ее северною женщиною, жалуется на свою судьбу; прикидывается страстным и пламенным, приходит к невесте в нетрезвом виде и, с пьяных глаз, совершенно некстати и очень неграциозно обнимает ее. Все эти штуки проделываются отчасти от скуки, отчасти потому, что г. Шамилову ужасно не хочется готовиться к экзамену; чтобы обойти это условие, он готов поступить на хлеба к дяде своей невесты и даже выпросить через невесту обеспеченный кусок хлеба у одного старого вельможи, бывшего друга ее покойного отца. Все эти гадости прикрываются мантией страстной любви, которая будто бы омрачает рассудок г. Шамилова; осуществлению этих гадостей мешают обстоятельства и твердая воля честной девушки. Шамилов делает ей сцены, требует, чтобы она отдалась ему до брака, но невеста его настолько умна, что видит его ребячество и держит его в почтительном отдалении. Видя серьезный отпор, наш герой жалуется на свою невесту одной молодой вдове и, вероятно чтобы утешиться, начинает объясняться ей в любви. Между тем отношения с невестою поддерживаются; Шамилова отправляют в Москву держать экзамен на кандидата; Шамилов экзамена не держит; к невесте не пишет и, наконец, успевает уверить себя без большого труда в том, что его невеста его не понимает, не любит и не стоит. Невеста от разных потрясений умирает в чахотке, а Шамилов избирает благую часть, т. е. женится на утешавшей его молодой вдове; это оказывается весьма удобным, потому что у этой вдовы обеспеченное состояние. Молодые Шамиловы приезжают в тот город, в котором происходило все действие рассказа; Шамилову отдают письмо, написанное к нему его покойною невестою за день до смерти, и по поводу этого письма происходит между нашим героем и его женою следующая сцена, достойным образом завершающая его беглую характеристику:

- Покажите мне письмо, которое отдал вам ваш друг, – начала она.
- какое письмо? – спросил с притворным удивлением Шамилов, садясь у окна.
- Не запирайтесь: я все слышала... Понимаете ли вы, что делаете?

- Что такое я делаю?

- Ничего: вы только принимаете от того человека, который сам прежде интересовался мною, письма от ваших прежних приятельниц и потом еще говорите ему, что вы теперь наказаны - кем? позвольте вас спросить. Мною, вероятно? Как это благородно и как умно! Еще вас считают умным человеком; но где же ваш ум? в чем он состоит, скажите мне, пожалуйста?.. Покажите письмо!

- Оно писано ко мне, а не к вам; я вашими переписками не интересуюсь.

- У меня не было и нет ни с кем переписки... Я играть вам собою, Петр Александрыч, не позволю... Мы ошиблись, мы не поняли друг друга.

Шамилов молчал.

- Отдайте мне письмо, или сейчас же поезжайте куда хотите, - повторила Катерина Петровна.

- Возьмите. Неужели вы думаете, что я привязываю к нему какой-нибудь особый интерес? - сказал с насмешкою Шамилов. И, бросив письмо на стол, ушел. Катерина Петровна начала читать его с замечаниями. "Я пишу это письмо к вам последнее в жизни..."

- Печальное начало!

"я не сержусь на вас; вы забыли ваши клятвы, забыли те отношения, которые я, безумная, считала неразрывными".

- Скажите, какая неопытная невинность! "Передо мною теперь..."

- Скучно!.. Аннушка!..

Явилась горничная.

- Поди, отдай барину это письмо и скажи, что я советую ему сделать для него медальон и хранить его на груди своей.

Горничная ушла и, воротившись, доложила барыне:

- Петр Александрыч приказали сказать, что они без вашего совета будут беречь его.

Вечером Шамилов поехал к Карелину, просидел у него до полуночи и, возвратись домой, прочитал несколько раз письмо Веры, вздохнул и разорвал его. На другой день он целое утро просил у жены прощения.

Вот он каков, Шамилов. Надо отдать Писемскому полную справедливость: он раздавил, втоптал в грязь дрянной тип драпирующегося фразера. Ни Тургенев в своем Рудине, ни Жорж-Занд в Орасе {11} не возвышались до такой удивительной, практической простоты отношений к личностям этих героев.

В выписанной мною заключительной сцене нет ни малейшей эффектности, ни тени искусственности; характер дорисовывается вполне; впечатление производится на читателя самое сильное, и притом самыми простыми, дешевыми, естественными средствами. Пустой фразер наказан как нельзя больше, и притом наказан не стечением обстоятельств, как Рудин в эпилоге, а неизбежными следствиями собственного характера. Он тщеславен, неспособен трудиться и сух - очень естественно, что он с удовольствием женится на богатой женщине, хотя бы она была и гораздо постарше его. Соблюдая перед самим собою благообразие отношений, он не сознается в том, что поставил себя в зависимое положение, ему дают почувствовать эту зависимость; он видит, что дело некрасиво, и пробует возмутиться - ему затягивают мундштук потуже; он, чисто для приличия, произносит перед горничною гордую фразу - его заставляют отказать от этой фразы; он уходит и надувается - его принуждают просить прощение, да еще целое утро; ему грозят, что его сгонят со двора, - и он становится шелковый. Собаке - собачья смерть, говорит пословица; но мне кажется, было бы правильнее сказать: "собаке - собачья жизнь". Смерть случайность, потому что камень может свалиться и на героя и на негодяя, но жизнь с своим направлением и с своею обстановкою зависит от

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org самого человека; жизнь Шамилова представляет полный оттиск его личности; каким бы героем этот джентльмен ни умер – все равно; мы видели, как он расположил свое существование, как напакостил себе и другим, и этого совершенно достаточно, чтобы оценить букет его характера.

В Шамилове, по моему мнению, больше жизненного значения, чем в Рудине: Шамиловых тысячи, Рудинных – десятки. Тургенев берет довольно исключительное явление. Писемский, напротив того, прямо запускает руку в действительную жизнь и вытаскивает оттуда таких людей, каких мы встречаем сплошь да рядом; между тем общий характер типа у Писемского проанализирован так же верно, как и у Тургенева, а очерчен даже гораздо ярче.

Виновато ли общество в формировании неделимых, {12} относящихся к этому типу? – На этот вопрос можно ответить так. Общество виновато во всем том, что совершается в его пределах; всякая дрянная личность самым фактом своего существования указывает на какой-нибудь недостаток в общественной организации. Что же делать обществу? спросит читатель. Вешать, что ли, преступников или усиливать полицейские меры для предупреждения новорожденных? – Нет, отвечу я. Вор не мог родиться вором, потому что новорожденный ребенок не имеет никакого понятия о том, что такое собственность. Его испортило воспитание, а воспитание зависит от отношений, от условий экономического быта, от суммы гуманных идей, находящихся во всеобщем обращении; если воспитание плохо в каком бы то ни было отношении, в этом прямо виновато общество; ни вы, ни я, ни Петр, ни Сидор отдельно не заслуживают порицания, но те отношения, в которых Петр стоит к Сидору или я стою к вам, могут быть названы ложными, неестественными и стеснительными.

Отношения эти образовались помимо нас и до нашего рождения; их освятила история, их не устранил никакая единичная воля; верить и сомневаться мы не можем *ad libitum*; {По желанию (лат.). – Ред.} мысли наши текут в известном порядке, помимо нашей воли; даже в процессе мысли мы стеснены условиями нашей физической организации и обстоятельствами нашего развития; если вы выросли при известной обстановке, свыклись с нею в течение вашей жизни и притом не обладаете значительною силою мысли, то вам, может быть, никогда не удастся обсудить эту обстановку совершенно свободно и смело; винить вас в этом было бы смешно, но заметить, что ваша робость оказывает вредное влияние на зависящие от вас личности, было бы совершенно справедливо; устранить это вредное влияние, хотя бы вам это было не по сердцу, также очень законно; но валить на вас ответственность за то, что вы поступаете сообразно с вашею природою, безжалостно и бесполезно. Если пороховые газы у вас в руках разорвут ружье, в котором уже образовался расстрел, то вы, вероятно, не станете сердиться ни на ружье, ни на порох, хотя бы от разрыва у вас перекалечило руки. Вы просто выведете заключение, что расстрелянное ружье может быть разорвано, если положить в него слишком крепкий заряд, и, вероятно, на будущее время будете осмотрительнее. Если бы только вы могли быть всегда последовательны, то и на человеческие слабости и погрешности вы смотрели бы так же бесстрастно, как на разрыв ружья; вы бы остерегались от вредных последствий этих слабостей, но на самые слабости не могли бы сердиться; поэтому необходимо хоть в критике становиться выше искусственного понятия; необходимо, говоря о личности человека, рассмотреть причины его поступков, привести их в соотношение с условиями его жизни, объяснить их влиянием обстоятельств и вследствие этого оправдать того грешника, в которого прежде летели камни. В заключение всего можно только сказать о подсудимой личности: такой-то слаб и не вынес гнета обстоятельств, а такой-то силен и победил все препятствия. Одного мы уважаем за его силу, другого презираем за его слабость по той же самой причине, по которой мы с удовольствием съедаем кусок свежего мяса и с отвращением выбрасываем в помойную яму гнилое яйцо. Кто же во всем этом виноват? Неужели сам субъект, т. е. продукт известных условий, совершенно не зависевших от его выбора? никто не виноват, да и что это за скверное слово: вина, виноват; от него пахнет уголовным наказанием. Это слово, это понятие исчезает теперь, и пенитенциарная система Северных штатов является нам первою удачною попыткою заменить наказание – перевоспитанием.

Шамилов и подобные им личности не имеют права претендовать на общество за то, что общество обращается с ними как с трутнями, но они имеют право жаловаться на то, что общество допустило их сделаться людьми дряблыми и никуда не годными. Они должны сказать: мы – лишние люди, нас нельзя пристроить ни к какому делу, но если бы нас иначе воспитывали в детстве и иначе направляли в молодости, мы, может быть, не обременяли бы собою земли и не относились бы к копителям неба и к чужеядным растениям.

VI

чтобы оттенить своих героев, принадлежащих к рудинскому типу, чтобы рельефнее выставить беспощадность своих отношений к их чахлым личностям и смешным претензиям, Тургенев и Писемский ставят их рядом с простыми, очень неразвитыми смертными, и эти простые смертные оказываются выше, крепче и честнее полированных и фразерствующих умников. Рудин пасует перед Воынцевым, перед отставным армейским ротмистром, не получившим никакого образования. Эльчанинов у Писемского в подметки не годится Савелию, мелкопоместному дворянину, пашущему вместе с своим единственным мужиком. Шамилов оказывается дрянью в сравнении с лихим гусаром Карелиным и даже в сравнения с тупоумным Сальниковым.

Рудин, Эльчанинов и Шамилов гораздо образованнее и даже развитее тех личностей, которым они противопоставляются, а между тем неотесанные натуры последних внушают гораздо больше доверия, уважения и сочувствия. Отчего это происходит? Оттого, что в фразерах мы ничего не видим, кроме известной дрессировки, а в дичках видим человека, каков он есть, с самородными достоинствами и с прилипшими случайно странностями и шероховатостями. Но теперь возникает другой вопрос: с какою целью Тургенев и Писемский решаются делать эти сопоставления? Что они хотят этим доказать? Неужели то, что образование вредно действует на человека? На последний вопрос можно смело ответить: нет. Дело в том, что польза образования, на словах, если не на самом деле, до такой степени признана всеми, что этого положения никто не станет доказывать и что против этого положения, выраженного совершенно абстрактно, никто не станет спорить. Сам Аскоченский не скажет прямо: образование вредно, хотя и постарается под благовидным предлогом очернить самые светлые его результаты. Для порядочных же людей нашего времени вопрос о пользе образования давным-давно, чуть не с пеленок, перестал быть вопросом. К признанному же факту, стоящему на незыблемых основаниях, мы можем относиться совершенно смело, с самою беспощадною и последовательною критикою. Нам незачем ни миндальничать перед идеями цивилизации, ни благоговеть перед ее благодеяниями. Мы можем уже говорить другим тоном. Мы видим, что свет цивилизации исподволь распространяется в нашем обширном отечестве, и от всей души радуемся этому факту, но, признавая его чрезвычайно важным, именно по этой причине и стараемся всмотреться в него как можно пристальнее. Великолепное растение, принадлежащее всем людям, но возделанное с особенною любовью западными европейцами и доставляющее им богатые плоды, перенесено на нашу почву и посажено на наших равнинах, где его и ветром качает, и снегом заносит, и засухой зажаривает. Ведь, право, не грешно будет спросить: каково принялось иноземное растение? есть ли надежда акклиматизировать его под нашим негостеприимным небом? Не грешно будет ответить на это: надежда, пожалуй, есть; да где же ее нет? А принялось-то нежное растение Запада не совсем хорошо; характер его извращен климатическими и другими условиями; плоды мелкие и горьковатые; зелень чахлая и тощая. Вот и стали кричать по этому случаю славянофилы: "Не надо нам этого растения! Оно нам не по климату; оно истощит всю нашу навозную почву, - которую мы, отцы и деды наши удобряли с таким постоянным усердием, не щадя живота и животных. Проклятый тот народ, который возделывает это растение; чтоб ему подавиться теми плодами, которые оно приносит!"

Было бы грустно думать, что лучшие из наших современных художников вторят в своих произведениях этим нестройным крикам. Неужели Писемский и Тургенев славянофильствуют, ставя полудикие натуры выше фразеров? Если бы эта статья принадлежала перу славянофила, то наверное бы автор ее подвел такого рода заключение и пришел бы в неописанный восторг оттого, что наши повествователи преклоняются будто бы перед народною правдою и святынею. Я же, не имея счастья принадлежать к сотрудникам покойной "Русской беседы" и ныне процветающего "Дня", {13} позволю себе взглянуть на дело более широким взглядом и постараюсь оправдать Тургенева и Писемского от упрека в славянофильстве.

Противопоставляя полудикую натуру - натуре обесцвеченной, наши художники говорят за человека, за самородные и неотъемлемые свойства и права его личности, они не думают выхвалять один народ на счет другого, один слой общества на счет другого, национальная или кастическая исключительность не может найти себе места в том светлом и любовном взгляде, которым истинный художник охватывает природу и человека; обнимая своим могучим синтезом все разнообразие явлений жизни, обобщая их естественным чутьем истины, видя в каждом из них его живую сторону, художник видит человека в каждом из

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org выводимых типов, заступает за него, когда он страдает, сочувствует ему, когда он опечален, осуждает его, когда он гнетет других; – и во всех этих случаях только интересы человеческой личности волнуют и потрясают впечатлительные нервы художника. Спор о том, что годится нам лучше, западная ли наука или восточная рутинная, не может иметь никакого интереса для художника; эпитеты: западная и восточная, в которых, по мнению борцов различных партий, заключается вся сила, откидываются в уме художника или даже вообще умного человека. Он рассматривает просто науку и рутину, движение и застой, как два различные состояния человеческого мозга; он одинаково легко отрешается от узкой англomanии московских доктринеров и от тупого патриотизма славянофилов; способность сочувствовать всему человеческому, всему живому и естественному, способность, составляющая необходимую принадлежность истинного художника, дает ему возможность видеть хорошие стороны самых противоположных между собою явлений и ни под каким видом не позволяет ему делаться рабом какой бы то ни было головной теории.

Наш брат-работник часто впадает в крайность и вследствие этого противоречит самому себе; полемизируя против вредной идеи, мы противопоставляем ей тот принцип, который считаем хорошим, и часто, увлекаясь благородным жаром, проводим этот принцип до последних, в действительности невозможных, пределов; мы пересаливаем, как партизаны, как люди партии, и в эти минуты художник, понимающий как-то инстинктивно правду и ложь всякого дела, может нарисовать нас и воспроизвести в одно время и благородное побуждение, заставляющее нас кричать и бесноваться, и смешные крайности, до которых доводит нас увлечение. Так поступили Писемский и Тургенев в отношении к явлениям, произведенным у нас на Руси влиянием цивилизации; они отнеслись совершенно беспощадно к той дикой почве, на которой разбрасываются семена нежного, европейского растения; ни Писемского, ни Тургенева нельзя упрекнуть в тупом пристрастии к патриархальности; но, с другой стороны, их нисколько не подкупил блеск той цивилизации, которая делает чудеса в Америке и в Англии: "Блестеть-то она блещет, – говорят наши романисты, – да каково-то у нас она принимается? Ведь теперь период порыва и страсти, и много уродливых, много жалких явлений, много крикливых диссонансов происходит от сшибки общечеловеческого элемента с Домостроем".

Что делать художнику в такие эпохи? Что делать человеку, горячо любящему человеческие интересы и сильно нуждающемуся в нравственной опоре? На что ему надеяться? На силу идеи, внесенной в жизнь народа, или на энергию народа, который переработает доставшуюся ему идею и обратит ее в свою полную умственную собственность, в капитал, с которого он со временем будет брать богатые проценты? На что ему надеяться, повторяю я: на силу идеи или на энергию человека? Конечно, на силу идеи, подхватят идеалисты и доктринеры, на силу истины, которая всегда восторжествует и останется вечно истиною. Хорошо; пускай себе идеалисты говорят что им угодно, а я скажу, что надо надеяться на силу человека как живого, органического тела, и со мною в этом случае согласны, по смыслу своих произведений, Тургенев и Писемский. Увлечись идеею не трудно, подчиниться идее способен человек очень ограниченных способностей, но такой человек не принесет идее никакой пользы и сам не выжмет из этой идеи никаких плодотворных результатов; чтобы переработать идею, напротив того, необходим живой мозг; только тот, кто переработал идею, способен сделаться деятелем или изменить условия своей собственной жизни под влиянием воспринятой им идеи, т. е. только такой человек способен служить идее и извлекать из нее для самого себя осязательную пользу. Подчиняются идеям многие, овладевают ими – избранные личности; оттого в тех слоях нашего общества, которые называют себя образованными, господствуют идеи, но эти идеи не живут; идея только тогда и живет, когда человек вырабатывает ее силами собственного мозга; как только она перешла в категорический закон, которому все подчиняется, так она застыла, умерла и начинает разлагаться.

Столкнувшись с целым миром новых, широких идей, наши рудинствующие молодые люди теряют всякую способность отнестись к ним критически и, следовательно, всякую способность переработать их в плоть и кровь свою; они благоговейно перед теми идеями, которых они наслушались, любят на эти идеи, но жить ими не могут, потому что нельзя же жить такими вещами, на которые смотришь издали и которых не осмеливаешься взять в руки. Они – сами по себе, а идеи их – сами по себе. Очень может быть, что новыми идеями вообще увлекаются прежде других природы впечатлительные, подвижные, не способные к критике и вследствие этого ничтожные в деле жизни; те кряжистые природы, которые противопоставляются Рудинным, воспринимают тугую, недоверчивую, постепенно; но когда известная идея, как известный прием лекарства, расшевелила их

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org мозговые нервы, тогда они начинают действовать; мысль не расходуется с делом; они живут, вместо того чтобы рассуждать о жизни; таких людей у нас немного, но таких людей начинает признавать и уважать наше общество. К числу их принадлежал Зыков, которого представил Писемский в романе "Тысяча душ"; таким людям приходится только говорить, надсаживать легкие бесплодным криком, надрывать грудь над неблагоприятною работою, иногда вдаваться в дикий кутеж с горя, сжигать жизнь дотла и умирать с горьким сознанием своего бессилия, умирать, как умирает человек, задыхающийся под стогом сена, которого он не в силах своротить с своей груди. Некрасивая и даже негромкая смерть. Эти мученики нашего тупоумия и нашей инертности до сих пор были разрозненными единицами, и художники наши не могли обращаться с ними как с представителями целого типа; в том, что называется у нас обществом, замечалось страшное раздвоение; одни повторяли на разные лады чужие мысли и воображали себе, что они думают; другие ничего не думали и ничего не воображали, росли в брюхо, ели и наедались, жили и умирали, словом, задавая себе маленькие цели, шли к ним бодрим, твердым шагом и всегда достигали их, если не случалось поскользнуться или если не расшибал паралич. Весь запас мыслей был на одной стороне, весь запас воли и энергии на другой; между теми и другими лежала бездна...

Но от кого же ждать спасительного толчка: от фразеров или от дикарей? Ответ на этот вопрос ясен. Фразеры развились до последних пределов, настолько, насколько они способны развиться; развились - и остановились; они сделали все, что могли, и больше от них нечего ждать, это - выпаханное поле; а у дикарей - новь, дичь, глушь, репы да крапива; но есть растительная сила, которую ничто не заменит. Кто заучился до такой степени, что потерял здравый смысл, на того остается махнуть рукой; кто ничему не учился, у того могут быть проблески самородного здравого смысла, и из этих проблесков может выработаться, смотря по обстоятельствам, живая мыслительная сила или горький, забулданный русский юмор. В живой силе, в здоровом теле, в мускулах, в костях и в нервах, а не в бумажных страницах и не в кожаных переплетах заключаются для человека задатки светлого будущего. Работать надо, работать мозгом, голосом, руками, а не упиваться сладкозвучным течением чужих мыслей, как бы ни были эти мысли стройны и вылощены.

VII

Кроме типа неисправимых фразеров, в произведениях Писемского и Тургенева можно отметить еще два главные разряда мужских характеров. Во-первых, заслуживают внимания люди, подобные Лежневу и Лаврецкому; во-вторых, люди, подобные Веретьеву (в повести Тургенева "Затишье") и Рымову (в рассказе Писемского "Комик"). Первые проникаются гуманными идеями и, не вступая во имя этих идей в борьбу с действительностью, располагают только свою собственную жизнь сообразно с этими идеями. Если они - помещики, они берут с своих крестьян легкий оброк, обращаются с ними кротко и ласково и, не ломая круто их предрассудков, стараются по возможности улучшить их материальный быт и смягчать грубость их нравов; если у них есть семейство, они предоставляют свободу жене своей, воспитывают детей своих вне предрассудков и не стесняют их свободной воли с той самой минуты, когда она начинает у них проявляться. Словом, это люди мягкие, не тяжелые, терпимые ко всему, что их окружает, и в том числе к глупостям и подлостям других людей. Как деятели, они никуда не годятся; но мерить достоинства человека только тою пользою, которую он приносит идее или окружающему обществу, было бы не совсем справедливо. Если человек не вредит другому, если он живет в свое удовольствие, не эксплуатируя других и не стесняя чужой свободы, то самое строгое нравственное *jugu* {Суд (франц.). - Ред.} должно признать его невиновным. Как деятель, он - нуль; но заставлять всех быть деятелями и клеймить презрением того, кто в этом отношении оказывается несостоятельным или, вернее, кто совершенно не выступает на это поприще, значит врываться в область личной свободы и смотреть на человека не как на самостоятельный организм, а как на винт или как на гайку в общем механизме общества. Предоставляю этот взгляд Платону, Аристотелю и новейшим их последователям; я же, с своей точки зрения, безусловно оправдываю Лежнева, Лаврецкого и Белавина; они делают, что могут, и больше от них нечего требовать, потому что требовать от человека самоотвержения совершенно не деликатно и негуманно, как бы велика и прекрасна ни была та идея, во имя которой мы его требуем. Темперамент людей, подобных Лежневу и Белавину, обыкновенно очень спокоен; развиваются они при благоприятных условиях, т. е. обыкновенно пользуются обеспеченным состоянием, усваивают себе свои убеждения без особенной боли, смотрят на жизнь светло и любовно, любят ровно и тихо, ненавидеть не умеют и спокойно презирают то, что возмущает до глубины души

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org людьми более страстных и раздражительных. Они – люди умеренные по самой натуре своей; их несправедливо было бы смешать с теми личностями, которые угождают нашим и вашим из чистого расчета, из боязни навлечь себе неприятности или из желания подслужиться; первые – люди, от природы лишенные жала и желчи; вторые скрывают жало и желчь и пускают их в ход тогда, когда они могут сделать это.

Совершенную противоположность с этими спокойными натурами представляют люди, подобные Рывову и Веретьеву. Это – люди с кипучими силами, с огненным темпераментом, с огромными страстями, с резкими недостатками, но с яркими талантами и с могучими стремлениями. Дарования и силы этих людей разбрасываются, тратятся на пустяки, и сами они видят это, и самим им жаль себя, и досадно на себя, и хочется забыть, утопить тяжелое чувство, размыкать горе. Сколько могучих талантов гибнет в нашем отечестве от беспорядочной жизни, от пьянства и кутежа! Зачем пьют, зачем кутят?.. Человек с умом и с душой такого наглого вопроса не предложит. Кабы не было тяжело, так не стали бы пить. Пить с горя не изящно, я с этим согласен, но жалок тот человек, который постоянно смотрит на себя со стороны и всю свою жизнь думает о том, чтобы сохранить внешнее благообразие; у людей, полных души и чувства, бывают такие минуты, когда весь человек сосредоточен в одном стремлении, когда он им только и живет, в нем только и видит отраду и цель существования; и если что-нибудь остановит такого человека в то время, когда он идет к своей любимой цели, если что-нибудь станет между этим человеком и его призванием, тогда не пеняйте на него и не удивляйтесь его поступкам. Та самая сила, которая могла бы сделать чудеса, победить все внешние препятствия, осуществить беспокойное стремление, та самая сила, перед проявлениями которой мы бы стали благоговеть и преклоняться, обращается против самого человека и разбивает вдребезги ту грудь, в которой она гнездится. Есть люди, которые могут помириться с неполной или помятой жизнью, с перекошенной и перекрашенной деятельностью; есть и другие люди, которые не умеют делать уступок; им подавай или все, или ничего; при первой разбитой надежде, при первой попытке жизни прибрать их к рукам и скрутить их по-своему они бросают все и с каким-то злобным наслаждением разбивают об дорогу и свой идеал, и свои стремления, и молодость, и силы, и жизнь. Являются вспышки отчаянной энергии, попытки повернуть дело по-своему и голову пробить себе дорогу к любимой деятельности; но такие попытки одному человеку не по силам, и за энергичным движением вперед следует обыкновенно страшная, часто отвратительная реакция. Кабы этим силам да другую сферу было бы совсем другое дело. Тип широкой натуры, разбрасывающейся в простом народе на сивуху, а в среднем кругу – на шампанское, мог бы переродиться в тип талантливого, живого, веселого работника.

Отношения Писемского к этому типу теплее, симпатичнее и справедливее, чем отношения Тургенева. Тургенев смотрит на своего Веретьева как-то слишком легко и слишком презрительно: это невеликодушно; жертвы нашего собственного тупоумия, нашей собственной инертности имеют право на наше сочувствие или по крайней мере на наше сострадание; если жизнь одних вколачивает в могилу, других вгоняет в кабак, третьих превращает в негодяев, то согласитесь, что в этом не виноваты те личности, которые не выносят атмосферы этой жизни. "Комик" Писемского неподражаемо хорош, как выражение этой идеи в поразительно ярких образах. Вот, говорит автор, Рывов запил, превратился в тряпку, попал под башмак глупой жены своей, какого-то ходячего пуховика; а вот, полюбуйте, то общество, среди которого он живет, – все как на подбор: один глупее другого, и каждый подличает по-своему; Рывов пьяный умнее их всех трезвых. Как же ему не пить? Когда везде видишь, по выражению Гоголя, одни свиные рыла, тогда поневоле захочешь хоть на несколько минут закрыть глаза, чтобы ничего не видеть. Рывов ищет одурения, самозабвения, бреда – и все это очень понятно, все это – протест против того, с чем борются все честные деятели и что ненавидят все порядочные люди.

VIII

В том, что я написал до сих пор, есть несколько мыслей о тех явлениях жизни, которые представлены Писемским и Тургеневым. Полной оценки их деятельности нет, а между тем статья вышла уже очень большая. Сознывая ее неполноту, я постараюсь в особой статье высказать свои мысли о женских типах, выведенных в произведениях Гончарова, Тургенева и Писемского. Кроме того, о таком романе, как "Тысяча душ", нельзя говорить вскользь и между прочим. По обилию и разнообразию явлений, схваченных в этом романе, он стоит положительно выше всех произведений нашей новейшей литературы.

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
Характер Калиновича задуман так глубоко, развитие этого характера находится в такой тесной связи со всеми важнейшими сторонами и особенностями нашей жизни, что о романе "Тысяча душ" можно написать десять критических статей не исчерпавши вполне его содержания и внутреннего смысла! Об таких явлениях говорить всегда кстати; говорить о них – значит говорить о жизни, а когда же обсуждение вопросов современной жизни может быть лишено интереса? Поэтому я теперь постараюсь в нескольких словах сгруппировать выводы, которые могут быть сделаны из теперешней моей статьи:

- 1) Я считаю трех названных мною романистов важнейшими представителями современной поэзии и отвергаю заслуги наших лирических поэтов, за исключением гг. Майкова и Некрасова.
- 2) В романе Гончарова я вижу только тщательное копирование мелких подробностей и микроскопически тонкий анализ. Ни глубокой мысли, ни искреннего чувства, ни прямодушных отношений к действительности я не замечаю.
- 3) В Писемском и в Тургеневе я дорожу преимущественно их отрицательным и совершенно трезвым воззрением на явления жизни.
- 4) Писемский глубже Тургенева захватывает эти явления, изображает их более густыми красками и по жизненной полноте своих творений, как "черноземная сила", стоит выше Тургенева.

1881 г. Ноябрь.

ПРИМЕЧАНИЯ

Писемский, Тургенев и Гончаров

Женские типы в романах и повестях Писемского, Тургенева и Гончарова

Обе статьи тематически тесно связанные между собою, первоначально появились в журнале "Русское слово" за 1861 г. (первая статья – в кн. 11; вторая – в кн. 12). Затем вошли в ч. I первого издания сочинений (1866). Различия в этих двух прижизненных публикациях незначительны. Даты под статьями выставлены в первом издании. Здесь воспроизводятся по тексту первого издания с исправлением мелких его погрешностей по тексту "Русского слова".

Развернутая в этих статьях критика отношений, господствовавших в феодально-крепостническом обществе, и защита прав личности вызвали резкие нападки на Писарева со стороны реакционеров и царской цензуры. Характерна история рассмотрения этих статей в цензуре после выхода в свет ч. I первого издания сочинений. В отношении цензурного комитета в Главное управление по делам печати от 22 марта 1866 г. говорилось:

"В... критических статьях... содержатся рассуждения автора о достоинствах замечательнейших сочинений гг. Гончарова, Тургенева и Писемского и, по этому поводу, о различных житейских вопросах современного русского общества. Из этих рассуждений в цензурном отношении обращают на себя внимание взгляды автора: 1) на супружеские отношения, 2) на воспитание детей, 3) на взаимные обязанности родителей и детей и 4) на религиозные внушения". И далее, формулируя пункты обвинения в отношении данных статей, цензурный комитет указывал на резкую критику со стороны Писарева воспитания в буржуазно-дворянской семье, калечащего детей, на критику складывающихся в этой семье ненормальных отношений между детьми и родителями (см. статью В. Е. Евгеньева-Максимова "Писарев и охранители" – "Голос минувшего", кн. 1-4, 1919, стр. 144-145).

1 Нравственная философия – устаревший термин для обозначения социологии, науки об обществе, сводившейся у социологов-идеалистов, пользовавшихся этим термином, к отвлеченной постановке этических проблем.

2 Намек на расправу немца Вергейма с извозчиком в Петербурге – см. прим. 52 к статье "Схоластика XIX века".

3 Ср. строки Некрасова о русском крестьянине в стихотворении "Размышления у парадного подъезда":

Стонет он по тюрьмам, по острогам,

В рудниках на железной цепи;

Стонет он под овином, под стогом,

Под телегой, ночуя в степи.

Цитата из стихотворения Некрасова, запрещенного цензурой до 1863 г., была возможна только в виде краткого намека, хорошо, впрочем, понятного читателю ввиду широкого распространения этого стихотворения в списках среди демократической интеллигенции (в 1860 г. оно было также опубликовано в "Колоколе" Герцена).

4 "Эпилог к ненаписанной поэме". - Под таким названием и в изуродованном виде из опасения цензурных преследований была напечатана Некрасовым в февральской книжке "Современника" за 1858 г. поэма "Несчастные", посвященная изображению царской каторги. - "Живя согласно с строгою моралью" - стихотворение Некрасова "Нравственный человек" (1846).

5 В годы учения в Петербургском университете Писарев был близок к литературному кружку Майковых. Положительная оценка поэзии А. Н. Майкова характерна для начального периода деятельности Писарева в "Русском слове". Первый полемический выпад против поэзии Майкова как проявления "чистого искусства" был сделан Писаревым в статье "Цветы невинного юмора" (1864).

6 "Очерки кругосветного плавания" - "Фрегат "Паллада" Гончарова; книга печаталась отдельными очерками в разных журналах, начиная с 1855 г.; отдельным изданием вышла в 1858 г.

7 Резкая оценка известного филолога И. И. Срезневского (1812-1880), основоположника истории русского языка как отдельной дисциплины, характерна для отношения к нему Писарева (см. ее развитие в статье "Наша университетская наука", даны, изд., т. II).

8 Бешметев - действующее лицо в повести Писемского "Тюфяк".

9 Имеются в виду два произведения так называемой "обличительной литературы" конца 1850-х гг. (см. прим. 30 к статье "Схоластика XIX века"): комедия В. А. Соллогуба "чиновник" (1856), где выступает "добродетельный" чиновник Надимов, шумно обличающий взяточничество и пр., и комедия Н. М. Львова "Предубеждение, или не место красит человека, а человек - место" (1858).

10 См. прим. 32 к статье "Схоластика XIX века".

11 В романе "Орас" Жорж Санд в лице героя произведения, по имени которого назван роман, выведен тип либерального фразера, заботящегося в конечном счете лишь о своем преуспевании.

12 См. прим. 7 к статье "Идеализм Платона".

18 "Русская беседа" - см. прим. 2 к статье "Схоластика XIX века". Члены - еженедельная славянофильская газета, издававшаяся Ив. Аксаковым с 15 октября 1861 г. до 1865 г.

14 Московскими доктринерами Писарев иронически называет М. Каткова и других постоянных сотрудников "Русского вестника".

15 ...некоторые девушки ходили на лекции в университет... - См. прим. 13 к статье "Схоластика XIX века". - ...и ходят до сих пор в Медико-хирургическую академию. - Медико-хирургическая академия стала доступной для женщин в 1861 г.

16 В киевской газете "Современная медицина" в 1861 г. был помещен фельетон, в котором реакционный автор пошло зубоскалил на тему о том, как же женщины-врачи, если они появятся, будут лечить мужчин.

17 Т. е. в статье "Писемский, Тургенев и Гончаров".

18 См. статью Писарева 1859 г. "Обломов". Роман И. А. Гончарова" в этом томе.

Писемский, Тургенев и Гончаров. Дмитрий Иванович Писарев filosoff.org
19 Свистуны – см. прим. 23 к, статье "Схоластика XIX века".

20 "Русский вестник" – см. прим. 1 к статье "Схоластика XIX века".

21 "Отечественные записки" – см. прим. 3 к статье "Схоластика XIX века".

22 Имеется в виду эпизод из комедии Шекспира "Сон в летнюю ночь". Царица эльфов Титания под действием чар царя эльфов карлика Оберона, ревновавшего ее и желавшего отомстить ей, влюбилась в ткача Основу, голова которого, под действием тех же чар Оберона, превратилась в ослиную.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://filosoff.org/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!